

Григорио Барбаро. Берендей, нимфа и мавка

Жанр произведения: Другое

Произведение написал автор BookBox Александр Бережной

Ссылка на публикацию

Полно нам, вольным, горе горевать -

Есть у нас крупа и сало.

Кулеш сварим, будем пировать,

Эх… будем пировать

Моя негромкая песня стелилась над простором воды, печальней, чем хотелось.

Иначе, совсем иначе звучала она, когда пели мы её у костра с побратимами, собравшись у походного котла.

Полно нам, вольным, горе горевать.

Сабля вострая в руке.

Ворога мы будем ей рубать.

Эх… ей рубать.

Что за блажь?

Слеза?

Да, нет… какие слёзы? То дым просто в глаза попал.

Махнул ладонью, отгоняя дым это предательский, да помешал кулеш деревянной ложкой.

Кулеша совсем немного было. И горсти крупы не набралось, зато там был лук и прочая зелень, что удалось мне берегу отыскать.

Да не на него сегодня мой расчёт был, а на три рыбины, что жарились, насаженные пруты. Жирные, кожа лопнула, жир стекает в огонь, шипит – и

запах этот дурманит, заставляя кишки в узлы скручиваться.

Полно нам, вольным, горе горевать.

С нами братья, сыновья, отцы и деды.

Ворогу ответом – защитою станицам.

Эх… защитою станицам.

Эх… земля чужая… да и братья, кто в сече не сгинул, кто на имперских галерах остался…

Всё дым этот, всё дым.

Отмахнулся от него, прогнал.

Подул на ложку, попробовал кулеш.

Подсолить бы, да вышла вся соль.

Ничего завтра фряги расплатятся за то, что я чудо-юдо ихнее одолел, полегче станет. И крупы прикуплю, и соли, и может что из мяса. Никак мне без мяса нельзя – в нём вся сила.

А как не одолею, так ничего уж не надо будет мне.

Полно нам, вольным, горе горевать.

Ждут нас дома жёны-дети.

Обнимем их и расцелуем их.

Эх…

Водица прозрачная, камушки видно. Рыбка плещется.

Не похоже, чтоб тут чудо-юдо какое водилось.

Оно ведь совсем иначе, когда какая нечисть водится – завсегда тина там, запустенье.

Но то у нас так было, тут у фрягов иначе всё, и нечисть тут иная, дурная совсем, злая, молитвы не боится, считай совсем, поэтому всё больше колочу её да

убиваю. Совсем не так у меня выходит, как в тех сказах, что дед Свирид сказывал. Дурнее.

Ложку в рот – кус рыбу.

Горячее, аж губы, в нутре жжёт, горит.

Прожевал, глотнул.

Повторил.

Чую: оживать прям стал.

Ох, какого труда стоило остановиться только на одной рыбине и не приканчивать весь кулеш.

Знаю я себя – обожрусь и усну тут же.

А мне ж ещё нечисть изводить.

Что за чудо-юдо тут водится я так и не понял, но крови оно местным попортило довольно: мужиков в селении совсем не было, одни бабы были, видно, сгинули все, пытаясь нечисть извести.

Посмотрел на свою рогатину, на нож…

Сабля-ты моя, подружка,

Ты прости меня – не уберёг.

И конь мой резвый – где ты?

Не с тобой я, не с тобой.

Я сам и не заметил, как опять запел.

Случалось со мной такое иногда.

И не всегда ведь сразу поймёшь это, заметишь.

Само оно собой как-то.

Было кто услышит – монету даст или еды какой. Но то всего раз-другой случалось, иные тут песни любят и поют: яркие, словно пламя костра, от

которых в пляс так и тянет.

Вздохнул.

Прислушался.

Принюхался.

Чем-то не тем повеяло от воды.

Начинается, похоже.

Как оно часто и бывает – стоило солнцу только зайти.

Поднялся, рогатину в руки взял.

Пошла по воде волна.

Одна.

Другая.

Ту же минуту поднялся ветер.

Волны сталкивались, набегали друг на друга, поднимались всё выше, закручивались.

Выше моего роста стали.

- Господь мой, не помяни грехов моих, и укрепи меня свыше силою Твоею. Даруй мне бодр ум и сердце бестрепетно. Во имя Твоё, гряду, да будет воля Твоя. – прошептал я молитву, и поудобнее рогатину перехватил, ожидая, когда ж ринется на меня чудо-юдо в пруду обитающее.

В столбе водном проявилась тень и быстро форму обрела.

От неожиданности и удивления я знак защитный сотворил.

Дивчина.

Как есть дивчина.

Голая.

Вышла из того водяного столба, и смолк ветер, и стихли волны.

Вновь стал пруд гладким.

Пошла она ко нему, аки по суху.

Волосы – как струи, тёмно-русые.

Улыбается, наготы своей не стесняется.

Вот она какая беда с мужиками местными приключилась, а я думал – чудище какое, а тут – эта.

Отец Иннокентий нас стращал бесовским отродьем, в Писании помянутом, что врагом всех мужчин было, суккубом зовущейся.

Не думал, что свидеться придётся с эдакой стыдобой.

Она остановилась в двух шагах.

И протянула руку – не ко мне, к рогатине.

Тронула остриё.

Провела пальцем, что-то сказала, улыбнулась, пальцем поманила.

Я ей поманю.

Опустил рогатину.

Пошёл к кустам, где молодняк рос, наломал прутов.

Может я язык здешний и не разумею, но при помощи лозинок и молитвы объяснил бесовке этой бесстыжей, чтоб больше в пруду этом не появлялась, мужиков в искус не вводила.

Вся округа её крики визгливые слушала, но пока «К тебе Истинный» десять раз не прочитал, не отпустил, и только после уселся кулеш и рыбу доедать.

Поутру забрал монеты.

Тут же сменял часть на крупу и соль.

Без мяса – дорого больно оно выходило, пока иду вдоль реки, могу и рыбу поесть.

Когда я уже покинул селение, догнала меня одна из местных: узел протянула.

Я сразу унюхал – с едой.

Добрая душа.

Поклонился я мамаше, как водится, в землю.

Поблагодарил.

Подвесил к своему пополневшему узелку на рогатину и пошёл дальше, ногами своими босыми шлях-дорогу иноземную топча.

Шёл вольный да по тракту,

По чужой он стороне.

Шёл он споро, шёл он с песнею:

«Ты лети скорей, дороженька,

Ты приведи меня домой!»

Шёл вольный да по тракту…

С песней ноги веселей несли меня вперёд, ей же отгонял тоску-кручину, что готова была в сердце родиться, стоило повиснуть тишине.

Занимал ещё себя я и тем, что округу разглядывал.

Земля здешняя – не родной степи простор, где куда не кинь взгляд видно всё окрест, а холмами дыбится.

Виноград, пшеницу тут растят, как у нас, сады тоже есть, но не с яблоками, не с грушами, а с тем, что фряги «аранжами» называют, – рыжими плодами, если разодрать его пальцами, то брызнет он таким запахом, что в голове может помутить. Внутри – дольки, слаще мёда, но с кислинкой. А ещё есть сады, где у деревьев листья у них мелкие, жёсткие, и они переливаются, будто их серебром посыпали, под ними – маленькие шарики, зелёные и чёрные. Есть надо чёрные, мягкие, масляные, они спелые.

Косточки с аранжев собрал, в узелке припрятал – будет и в нашем краю эта диковина расти. Землица у нас-то – палку вотки прорастёт, здешняя-то победнее

будет – глина и туф, солнцем высушена, потрескалась, и в ней – камни. Много камней. Из камней тех стены понастроены, но то не для обороны, для порядку, как у нас плетни.

Дома у фрягов сплошь из камня.

Везде.

Даже самая захудала лачуга, что стоит одна на отшибе, и та – из камня.

Ну и нечисть.

Всегда к ней возвращаюсь.

Другая она тут.

Может от того это, что молятся они не так, как надо?

Увидал бы отец Иннокентий церквы здешние – дар речи потерял бы.

Я вот потерял, от величия и красоты.

Кругом всё высокое, белое.

Статуи везде, всё нарядное, в золоте, в окнах стёкла цветные, картины из Писания изображают.

И попы – наши им не чета – нарядно одеты. Безбородые только. А у кого и есть борода, так название одно. Жиденькая, аккуратненькая, клинышком.

Только с ними и выходит как-то общаться, на языке Писания, хоть и говорят они на нём как-то странно, по-своему.

За мыслями, за песнями незаметно день прошёл, склонилось солнышко к горизонту, значит, пора и мне на стоянку становиться.

Три рыбины добыл, пожарил, подсолил чуть, да с хлебом, что в узелке, мамашей мне протянутом съел.

Сыром заел.

Ещё раз благодарность сказал – за круг колбасы – завтра будет у меня кулеш наваристый, в узелке мной обнаруженный, за горсть орехов.

Открыл небольшой флягу-тыковку, сразу учуял запах. Вино.

Разве ж это дело в одиночку пить?

В одиночку только помины справлять.

Закрыл.

Искупнулся, пыль дневную с себя смыл, и готовился уже ко сну отходить, как пошла по воде волна, поднялся ветер.

Неужто блудная бесовка не угомонилась?

Поглядим, а если нужно: урок с лозинкой повторю, может не поняла она чего с первого раза.

В этот раз всё потише, поскромнее вышло.

Из середины реки, из самой глубины, поднялась она.

Нагая. Опять.

Не пошёл ей видно в прок урок мой вчерашний.

Глаза злющие. Поднялась и как давай кричать, руками махать.

За ней из воды поднялись семеро.

Все в одних портках, с глазами, которые смотрели на меня, недобро так смотрели, исподлобья.

Ну это им так казалось, что недобро.

А по мне так смотрели те семеро на меня обижено.

Гладенькие такие, аккуратненькие, изнеженные, плавные, будто и не мужики они вовсе, а дивчины.

Накричалась бесовка да пальцем на меня укажи, защитничков своих на меня посылая.

Вздохнул я, а куда деваться?

Ладонью открытой одного приложил, второго.

Один в руку мне вцепился, как дитё на ней повис, что хотел я и не понял, отбросил я его в сторону.

Ещё один что-то с ногой моей затеял, ужом крутился, обвивался, а только я шаг сделал, так тут же завизжал почище дивчин, сам себе что-то по глупости своей защемил.

В общем, вышло странно, будто не с парубками боролся, а с дивчинами.

И стыдно вроде оплеухи отвешивать, неправильно, а как терпеть такое, когда тебя за руку укусить пытаются, за бороду тянут?

Позорней, бестолковей занятия в жизни моей не было ещё, но как-то всё ж справился, угомонил я их.

Прутьев наломал, ясно дело.

Высек всех, в целях воспитания, да отпустил восвояси, а сам спать завалился.

Умаялся я малость с ними: восьмерых высечь, да ещё молитвы при том читаючи.

Выспаться не удалось: бесовка-то на защитничков своих крепко обиделась да оставила их на берегу, сама же удалилась в реку.

Так они почитай до утра и рыдали, спать мне не давали.

Встал я, поглядел на позорников этих, с глазами, опухшими от слёз, со следами моих оплеух, у кого где, что за ночь налиться успели, да с задами красными.

Лепечут что-то.

Каются небось.

Морок-то бесовки должно быть спал, понятие пришло, что дурь творили.

Жалко их стало.

Наварил кулеша, жирного, с колбасой.

Покормил, хоть сперва и брезговали они одной ложкой с котла есть.

Вином отпоил, сам, не пил, правда, и показываю, мол, пошли со мной.

Пошли.

До церкви доберёмся, они тут в каждом селении имеются, да сдам их.

Пусть фряги сами разбираются, что с дурнями этими делать.

Радуясь дню белому да шляху, затянул я песню весёлую.

Ой, при лужку, при лужке,

При широком поле,

При знакомом табуне

Конь гулял по воле.

При знакомом табуне

Конь гулял по воле.

Спутникам моим дорога же в новинку оказалась, ранила она их ноги нежные, солнце жгло.

Вскоре причитать, плакать по-новому они начали.

Сперва я лишь подивился-посмеялся, бороду огладил, а потом не до смеху мне стало: стоило солнцу зенит миновать, как болезные под деревом сели, в тенёчке, и как начнут в голос рыдать-всхлипывать, друг дружке ступни свои показывая и другие части, что, признать следует, опухли изрядно.

Подошёл я к ним, показываю, - дорога, мол, идти дальше нужно.

Лепечут что-то, ступни показывают – теперь мне.

Господи… ну что с ними делать?

Ладно, показал им что б сидели тут и никуда не ходили.

Дважды показал: вы тут сидите, а я вот туда иду, а потом возвращаюсь за вами.

Не уверен, что до них дошло, но решил, в третий раз не объяснять: далеко они всё равно такие уйти не смогут.

Как выяснилось, до селения не дотянули они совсем немного: шлях несколько раз вильнул меж холмами, взодрался на один, второй, а с третьего – вон она церквушка, селением окружённая, виднеется.

Местный поп совсем уж плохо знал язык Писания, а что знал говорил так неразборчиво, что понять что-то невозможно было, поэтому с ним объяснялся больше жестами, чем словами, но в этом деле я уже изрядно поднаторел,

поэтому показал: больно, семеро, там, повозка забирать.

Понял.

Поехали мы за болезными.

Помог я их погрузить в повозку, да рукой махнул на прощание, и пошёл к реке, к ночи готовиться.

Рыбы наловить не удалось.

Я огорчился, а там и причина моей неудачи появилась.

Блудница.

Она стояла на середине реки. Не кричала, как вчера, говорила что-то, зло так: колдовство, должно быть, своё бесовское наводила.

Эх… не пошла ей моя наука впрок, совсем дурная, видно…

Прочитал я «Живый в помощи», знак защитный сотворил, да кулеш собрался готовить, а тут вода перестала бесовку держать, грохнулась она в реку.

Видно, всё ж проняла бесовку моя молитва, раз чары её бесовские прахом пошли.

Выбралась, удивлённая, на берег.

На тот, что нужно.

На котором я её ждал.

На заду уже живого места нет, а ума так и не прибавилось.

Ничего, может, с этого раза дойдёт до неё.

Высек, как того требовала наука, да отпустил.

Хотя она никуда не пошла, так и осталась лежать на траве, задом своим кверху, то ли плача, то ли ругаясь тихо.

Как я и думал – рыбы не было из-за её бесовски проделок.

Со второго раза рыбину мне удалось добыть.

Крупу и колбасы остаток решил поберечь, только рыбой на ужин обойтись.

И это ночью выспаться не удалось: бесовка, отлежавшись, пошла к воде плескаться, потом начала плакать, потом на меня бросаться, не прекращая при этом плакать, потом опять в реку полезла, едва не утопилась, пришлось мне её доставать.

Она отбивалась.

Исцарапала меня всего.

Сказал, что, если она это продолжит, – получит по заднице ещё раз.

Подействовало.

Прилегла опять, зад свой исполосованную луне подставила.

Плачет, что-то лопочет, жалостливо.

Ага, так взял я и поверил, не дурной чай, помню, что отец Иннокентий да дед Свирид говорили по поводу бесовских хитростей…и тут, как гром средь ясна неба, до меня доходит: поняла она, что я сказал, поэтому угомонилась… поняла…

- Бесовка блудливая, ты что ж это речь мою разумеешь?

Отвернулась, демонстративно так, как кошка, которую уличила в том, что она до сметанки добралась, чем убедила меня в моих подозрениях.

- Бесовка, ты нос не вороти: отвечай.

Плакать перестала.

Тут же.

Засопела.

Сердито так.

Как есть – понимает. Каждое слово.

Ух, бесовская сила… но ничего, подход известен, развяжу я тебе язык:

- Знаешь, на галерах пороли за любую провинность, да не просто пороли, потом окатывали забортной водой, солёной, почитай, огнём пекельным живого жгли,

так вот подумалось мне может слабо я тебя сёк, вот ты урок всё никак в толк взять не можешь, - замерла бесовка не душит, напряглась, - может, солью мне зад твой посыпать да опять высечь? Авось поможет…

Сорвалась бесовка, к воде спасительной бежать собралась.

Быстра бесовка, да быстрее я: за ногу её ухватил, так она и упала, лицом вниз, заверещала:

- Барбар! Животное! Пусти!

И ногами дрыгать стала.

Поднялся я, всё также её за лодыжку держа, встряхнул раз, другой и говорю:

- Будем говорить или всё же для начала мне тебя опять высечь?

Помолчала бесовка, да отвечает:

- Не надо сечь.

Ох, и заговорила бесовка, прям баба базарная, торговку уличившая в обвесе.

Виноват я оказался во всех бедах её великих.

Высек-унизил, зад её всеми любимый попортил, а она ж только и делала, что любилась с парубками, а они ж сами к ней ходили.

Аколитов её боем побил, да священникам отдал, и нет теперь у неё любимцев красивых, а она, дескать, их по всему краю собирала, чтоб красивые, ухоженные.

План её красивый порушил, ведь должен был я, по разумению её, бесовскому, блудному, увидев, что не держит вода её, что тонет она, что плачет, проникнуться жалостью, влюбиться, а я её – сечь.

Носом, разбитым шмыгает, не удачно больно упала, когда я за лодыжку её ухватил.

С трудном сдерживался я, что не расхохотаться, а как начала она расписывать, какой чурбан, барбар я, раз слезам её не поверил, так тут уж расхохотался в голос:

- Да где ж это видано, чтоб бесовке блудливой хоть капля веры была?

- Я – нимфа, а никакая не бесовка, барбар ты дикий.

И глазищами своими сверкает, а под ними уже синяки наливаться начинаются.

Смех один.

- Никакой я не барбар, вольный человек я, а ты – бесовка, суккубом прозываемая, и голову мне не дури, а расскажи ты мне лучше: кто тебя языку людей вольных научил? – отсмеявшись, слёзы утерев, сказал я ей, а надежда всё ж в сердце моём затеплилась, может, есть ещё кто родной на земле этой чужой.

- Суккуб?! Я?! Да чтоб ты знал, барбар, бородатый, неотёсанный, я – сама нимфа Салмакида, дочь речного бога Меандра!

- Бог один. Истинный.

- Да как ты смеешь?

- Может всё ж мне тебя высечь ещё раз?

Молчит.

Смотрит.

- Так мне тебя высечь? – повторил я вопрос.

- Не надо.

- Чтоб бесов, родичей своих, больше богами не величала. Поняла, бесовка?

- Поняла.

- Так кто тебя языку вольных людей обучил?

- Да никто.

- Ты мне голову не дури, бесовка, я тебе не малец безусый, чтоб в игры твои играть. Отвечай.

- Да не знаю я твоя язык. Я с тобой не словами общаюсь, на губы мои посмотри.

И то правда – не двигались губы её.

- Вот оно как… - вздохнул я.

Бесовская уловка всё это, не было вольного, что языку её нашему обучил.

Один я в земле этой.

Один…

Вздохнул я, узелки, котелок на рогатину подвесил и пошёл прочь.

- На глаза мои не вздумай попадаться: больше жалеть не стану.

Всё ж нашла, бесовка, как больнее ранить: сперва дала надежу, а затем забрала её.

Дураком выставила.

Посмеётся, теперь небось, над дурнем вольным, поверившим, что родного кого отыскать в этом краю сможет.

Пусть смеётся.

Не тот вольный, кто никогда не падал, а тот, кто упал да поднялся.

Я – поднялся.

Я – иду.

Душно мне вдруг сделалось.

Не от ветра-солнца, не от холмов, надо мной нависших, от чего-то, что изнутри будто горло моё схватило.

Бывает такое.

Ничем не помочь.

Нужно просто перетерпеть.

Выпьем же! Помянем мы...

Э-э-э-э-э...

Другов не вернувшихся...

Э-э-э-э-э...

С сечи не вернувшихся...

Э-э-э-э-э...

ВЫПЬЕМ!..

Э-э-э-э-э...

На самой города, с церковью, куда сдал защитников бесовки, подозвала меня жестом мамаша, краюху хлеба протянула, водой напоила.

Стало легче чуть, ослабла хватка на горле.

Поклонился я ей благодарно.

Река щедро со мной рыбой поделилась, да так, что понятно стало, - без бесовки дело тут не обошлось.

Где ж это видано, чтоб рыба сама на берег выпрыгивала?

Бесовские проделки всё это – то и без попа ясно.

Да и поостыл я уже, не так сердит был за шутку её злую, потому, пока рыбу жарил, лук дикий разыскивал, ждал, когда ж она явится и чего в этот раз удумает.

Явилась.

Тихо так, скромно.

Встала по средь реки и стоит.

И не нага, как все прошлые разы – видно, впрок моя наука ей пошла, правда, не до конца, платье-то бирюзово-синее, волны цветом, и такое же прозрачное, как вода речная.

Бесовка, что с неё взять?

- Ладно, - говорю, - погорячился я вчера. Иди сюда, рыбой поделюсь, хлебом.

- Больно нужна мне эта рыба твоя вонючая.

Действия её явили полную противоположность слов, и скоро бесовка уже была рядом.

- Какую каверзу сегодня решила удумать? – спросил я больше для смеха, чем для дела.

- А может быть я мириться пришла?

- С кем?

- С тобой, барбар ты бородатый!

- Так мы вроде и ссорились, чтоб теперь мириться.

- Как не ссорились? А это что? Это от доброты твоей? Ты только посмотри, что ты сделал… - и задом мне в лицо своим давай тыкать.

- Для науки, чтоб не шалила больше, парням молодым голову не дурила бесовскими своими уловками.

- Это всё они ко мне липли, всё упрашивали. А я между прочим – нимфа, дочь… - осеклась, сообразив, что отца своего при мне лучше не поминать.

- Вишь как оно – хотела глупость сказать, да науку мою вспомнила, значит, не зря тебя я сёк, не зря.

- Не зря?! Не зря?! Ты посмотри, а если она так и останется? Меня ж подружки засмеют. И кому я с таким теперь нужна буду? А? Всю красоту испортил и болит, знаешь как? Вот знаешь?

Для порядка я всё же поглядел на результаты трудов своих: бил я много, но аккуратно, поэтому стоит дать время синякам налиться, а потом сойти – будет всё, как и было.

- Знаю. – ответил я и почесал рубцы на спине, гостинцы из плена мной прихваченные.

Глянув мне на спину, бесовка чуть чувств не лишилась, и как начнёт причитать:

- Это что и меня теперь также?.. барбар, миленький, сними колдовство своё, что хочешь сделаю, только сними, не хочу так…

Ох, и как такую дурную из их бесовской бурсы выпустили-то?

Какое такое колдовство?

Её ни разу не пороли что ль?

Вздохнул я, сказы деда Свирида припомнив, о том, как люди вольные на службу себе бесов брали, хутора в степи строили и много чего ещё хорошего для людей добрых делали, да усмехнулся: наслужит мне такая бесовка, настроит.

- Сейчас полечим немного и всё хорошо будет, лучше, чем прежде, – так и не притронувшись к рыбе, пошёл я травы потребные искать, добавив, когда отошёл, - Господи, прости…

Травки потребные в кашицу перетёр камнями, нанёс аккуратно, вернулся к рыбе.

Поужинать потребно.

Сегодня рыбы столько, что можно наесться вдоволь.

- Теперь всё пройдёт?

- Пройдёт, пройдёт. – заверил я бесовку и перед тем как наконец куснуть рыбу, добавил. – Седмицы через три, может, четыре.

- Четыре? – взвизгнула она в ответ, а, погодя, глупость глупую спросила. – А сколько это седмица?

- Семь дней… - договорить я не успел, подивиться тому, как не знать можно такие вещи простые.

- Три декады… - взвыла бесовка и ко мне подскочила, начала за руку дергать, - барбар, миленький, а никак быстрее нельзя? Больно же… подружки смеются…

- Никак.

Видно, больно сурово я это сказал: расплакалась бесовка.

Да что за позор это? Всем бесы как бесы достаются, а мне это недоразумение.

Ворочусь в край родной, начну рассказывать, так вралем заклеймят, скажут: не бывает таких дурных бесов.

- Злой ты, барбар, ну что я тебе такого плохого сделала, что ты со мной так?

- А парубкой из селения, кто сманивал, да так, что собрались люди и скинулись деньгой, чтоб тебя истребить?

Теперь-то понятно, что сманивала, на ночь, а не убивала, но это теперь понятно, а не тогда, когда я шёл с чудо-юдой бороться, в пруду обитающей.

И, если уж не кривить душой, речь поп скорее всего вёл об exterminare – о том, чтобы прогнать, а я подумал, что от говорит об exterminate – истреблении.

Всё ж лучше надо было учить Писание, внимательнее.

- Не сманивала я никого… я на берегу сидела, волосы расчёсывала… они сами… и вообще потом они уходили…

- А те семеро? – жуя, напомнил я бесовке.

- Это мои аколиты, я ж говорила. Они сами мне служить захотели.

- Складно у тебя всё выходит: всё-то они сами, а твоё дело вроде как сторона.

- Ну что я виновата в том, что я такая красивая и всем нравлюсь?

Усмехнулся я: не бесовка будто, а дивчина обиженная со мной говорит.

- Значит внимание мужское тебе не нравилось? Так что ль выходит?

- Ну почему же не нравилось… - замялась бесовка.

- Вот о том и я. Парубки, конечно, дурные, что в ловушку твою, бесовскую, попались, так ловушку ту ты сама расставила, и радовалась, когда в неё новый дурень попадает.

- Ты не прав, барбар… ну что плохого я делала: всё ж довольны…

- Жены-матери не в счёт?

- Ну почти все…

- Вот.

- Что «вот»? Что «вот»? Все довольны, все получили, что хотели, а мне за это вот это? – и на зад свой оглядывается. – И три декады страдать? Барбар, почему одна я должна страдать?

Головой покачал: признать стоит, обида её понятна мне.

Если по уму всё делать, так надо было и блудникам, что к бесовке бегали, прописать лозины, так что б седмицу сесть не могли. В родном краю я б так и сделал, но то в родном краю, а как оно у фрягов принято – то Истинному одному известно, да и платили мне чтоб я от бесовки их избавил, а не за то чтобы я мужичков их уму-разуму учил.

Вот и получатся, что все, даже я, получил, что хотел – одной бесовке через это страданье.

- Что, барбар, замолчал, головой качаешь?

- Да думаю: то ли, Господи, прости меня грешного, признать твою правоту, то ли высечь, чтоб не смущала ты меня своими бесовскими речами. Ты что выбрала б?

- Не надо меня сечь…

Вздохнул.

Оно я и не собирался бесовку сечь, так ради шутки сказал.

Видно же: совсем дурная она, ничего в ремесле своём бесовском не смыслит.

Ни хитрости, ни ума, бесам приличествующих.

Срам один.

- Пострадала ты, бесовка, из-за своей природы бесовской. – признал я её правоту.

Бесовка видно хотела что-то сказать в ответ, передумала, потом ещё что-то передумала говорить, пока наконец не сказала:

- Барбар, ну не зови меня бесовкой. Нимфа я, Салмакида.

Салмакида – сразу видно бесовское имя, язык его с трудом выговорить может.

Потребно что-то наше, чтоб звучало.

- Сальмой будешь. – покрутив на языке имя, принял я решение.

- Не буду.

- Дело твоё.

- Ну, барбар, что тебе так трудно Салмакидой меня звать?

Почесал я бороду, да признался:

- Дурное у тебя имя, бесовское. Сальма – куда лучше звучит. Вот сама послушай.

И пропел «Сальма», легко, позволив имени раствориться в ночи, а следом протарахтел «Салмакида».

- Слышишь разницу? Твоя «Салмакида» - не имя вовсе, а будто повозка по булыжникам скажет. А «Сальма» - будто из песни слово взяли.

Помолчала бесовка, соглашаться со мной не стала:

- Я подумаю.

- Ну думай, а я спать буду. – хоть и понимал, что нужды особой нет, но добавил. – Если глупость какая в голову придёт – о лозинках вспомни.

Проснулся я от всхлипов.

- Барбар, миленький, ну за что ты меня так? Я думала: мы помирились, зачем ты со мной так? Всю красоту забрал.

Бесовка плакала, смотря на своё отражение в реке, а как повернулась ко мне, так стала ясна причина её печали: нос, разбитый, опух, под глазами синяки налились, волосы спутались, трава, листья, ветки мелкие в них какие-то, глаза, лицо, краснющие, опухшие от слёз.

Без сочувствия и не взглянуть.

- Барбар, я ж на всё, на всё, готова, только верни, как было, верни… не хочу такой быть… - и ко мне на четвереньках ползёт.

Что за напасть?

Схватил её подмышки, над землёй поднял, встряхнул легонько.

- Пройдёт всё. Я ж сказал.

А она мне в ответ ревёт:

- За что ты со мной так?..

Совсем дурная.

Не били её что ль ни разу, раз ушибы обычные такой отклик вызывают?

«И такое может быть, - рассудил я, - край чужой, фряжий, нечисть тут другая, бесы, по всему видно, тоже не те, что у нас, помельче, пожиже».

- Пройдёт всё. – говорю. – Пойдём, умоем тебя, причешем.

Она опять в слёзы. Гребень потерялся где-то.

Больно мне тот гребень нужен…

Руками причесал, веточки, листья выбрал, косу славные, толстую, сплёл.

Водой речной, холодной, умыл.

- Не слезы твои вытираю – умываю тебя, чтоб ты снова видела мир ясным.

- Опять колдуешь?

Что ты с ней делать будешь?

Чтоб вольный и колдовал, где ж это видано?

- Опять. – кивнул я.

Всех бед, конечно, не исправил, но выглядеть бесовка стала не так жалко.

Вчерашнюю рыбу есть отказалась.

Без слов.

Головой помотала, а как собрался я уходить, так она за мной.

Говорит, мол, не станет такой своим показываться, издеваться будут.

Это я понял, такое и про меж нас, людей, водится, а уж среди бесов, так точно сто крат сильнее быть должно.

Но я ей всё равно отказал:

- Не можно, чтоб рядом да такое непотребство со мной было. – и на наряд ей показываю.

Кивнула, и платье её плотнее стало, утратив прозрачность былую.

- Пойдём тогда. – оценив бесовскую штучку её, кивнул я. – Только смотри мне чтоб людям зла никакого не творила – о лозинках помни.

- Кто на меня на такую хоть взглянет… - не договорила, опять заплакала.

Да что ж ты с ней дела-то будешь?

Не бесовка, а наказание…

Или всё ж благословение?

Хоть и бесовка, блудливая, а всё ж есть с кем теперь поговорить-поспорить, о былом не вспоминать, о грядущем не думать, тоске-кручине не позволить душу тисками сковать, сил последних лишив, надежды, едва живой.

Наказание, как есть наказание.

За грехи мои тяжкие.

Прошли мы всего-ничего, солнышко только-только припекать начало, как бесовке дурно стало, в пыль дорожную упала, лицо своё многострадальное ещё сильнее расшибла.

Пришлось на руки её брать, в тень нести, водой отпаивать.

Поглядел я на бесовку, и так, и эдак покрутил: рубцы на заду вспухли, жаром пышут, ступни поранены, да поболе чем у позорников давешних, аколитов этих, лицо после падения пуще прежнего опухать стало.

Плачет.

Почесал бороду.

Беда…

Слабая совсем оказалась бесовка, не хватило силы трав, чтобы болезнь отвести.

Шёпотком придётся воспользоваться.

Не молитвой, какая молитва о помощи бесовке?.. шёпоток нужен, из тех, что мать меня учила…

Господи, что я за глупости творю, ужель дуростью от бесовки это непутёвой заразился?

Вдохнул: хоть и бесовка, а всё ж не бросишь.

Сделал всё, как положено.

Каждой травинке, прежде, чем сорвать, - свой шёпоток.

Примочки, отвары, - все со своими словами тихими, да верными.

Когда повисала тишина, чтоб не было соблазна у бесовки вновь разрыдаться, так о крае родном говорил, о садах наших, о земле щедрой, о нас, о людях вольных.

К вечеру отпустило бесовку, вздохнул я с облегчением.

Хоть не так далека была река, можно было и рыбы наловить, но не стал далеко отходить: сел варить кулеш с остатком колбасы.

Кулеш сделал чуть жиже, чем обычно, - не знаю, чем там бесовки силы свои подкрепляют, но от кулеша доброго точно вреда не будет, тем боле слышал я как у неё живот урчал.

Попробовал я кулеш.

Славный вышел, наваристый.

Зачерпнул вторую ложку, бесовке сунул.

- О лозине-то помни. – упредил я её возражения.

Бесовка сперва с неохотой жевать стала, а потом ничего – на пару мы котелок весь и срубали.

Поели, а там и пора спать настала.

Уснул бы я, да бесовка всё ворочалась, никак ей сон не шёл.

Вздохнул я, сел и песню тихую затянул.

Распрягайте хлопцы коней,

Да ложитесь почивать.

Я пойду в садок зелёный,

Криниченку покопать.

Допел, а она мне и говорит:

- Барбар, и что это было?

- Песня, чтоб засыпалось тебе быстрее, легче…

- Засыпалось легче? Кто под это может засыпать?

- Я в детстве засыпал, - огорчили меня слова, - но погоди гневиться, есть у меня и другие песни, колыбельные.

Сказал и запел колыбельную, что только в доме родном и слышал.

Когти, нрав свои умерь.

Песни пой и смейся звонко.

Жить в станице привыкай,

Назови её ты домом.

Сам себя ты скуй молитвой.

Волей, словом себя скуй.

- Барбар, кто ж такие ужасы ребёнку петь будет? Это ж не песня, а заклятие, колдовство это. – дослушав бесовка произнесла.

- Не права ты. Песни это, просто песни края моего родного. – покачал я головой несогласно. – Иное детям своим поют в этом краю?

- Иное. – сказала и запела.

Спите, мои малютки, сладким и утренним сном,

Спите, душа моя, два брата, счастливые дети.

Счастливо вам почивать и счастливо увидеть рассвет.

Печально так спела, будто вода в ручье журчала.

- Славная песня. Споёшь ещё?

Кивнула бесовка и запела.

Так она и пела, песню за песней, пока не стал голос её тише, а там уснула бесовка.

Уснул и я следом.

Поутру осмотрел бесовку.

Без слёз не взглянешь: опухоль спала, зато и лицо, и зад стали сине-фиолетовыми, лицо-то ещё ничего, а зад, полосатый вышел, одна полоска такая, другая чуть иная, как раз как лозинки ложились, на коленях ссадины от падения, на ладонях, мелкие, но досадные, ступни нежные ходьбой по шляху изранены.

- Не молчи, барбар, ты говори, говори, как есть…

- Седмицу-другую парни точно могут спать спокойно.

Бесовка тут же в слёзы.

Насилу успокоил, объяснил, мол, хорошо всё, может, и не придётся четыре седмицы ждать, за две всё сойдёт.

Принюхался, определяя, в каком направлении ближайшее селение.

Не далеко оказалось оно, да и не так чтоб и близко: не дойдёт до него бесовка, потому самому надо идти.

Обувь раздобыть для бесовки, чтоб дорога ноги не ранила, шляпу, голову её глупую-бедовую от солнца прикрыть. Потребно также запасы пополнить: истощились они со всеми делами этими странным. Попа расспросить тоже не мешало б, может, нечисть какая фрягов тревожит и готовы они мне за избавление деньгу дать.

Обещал воротиться до заката, да пошёл.

Из нечисти и душегубов в округе местный поп только и смог что криво рассказать о селении, которое я от бесовки избавил.

Улыбнулся я – ноги мои быстрее слухов оказались, не знал поп, что бесовка та сейчас если и способна какое чувство к себе вызвать, так только жалость.

На торгу, что перед церковью раскинулся, нашёл я на прилавке башмаки – из кожи, на ремешках, без каблука. Как чувяки. Но не чувяки. Тяжелее. Грубее. Я взял один в руки, помял – и понял: из той же кожи, да не теми руками сделаны, но ногу держат должны. Ладно, сойдёт.

Тут же нашёл и шляпу – из соломы, широкую, как брыль. Покрутил её в руках. Легкая, от солнца спасение.

Поторговался – язык в том деле лишь помеха.

Купил и то, и другое.

Припасов взял.

Кубышка моя с тех трат полегче стала, да о том я себе думать заказал: не оставит меня грешного Господь, Истинный, работа какая для рук моих отыщется

ещё.

Бесовка ждала меня там же, где мы с ней расстались.

Рукой приветливо помахала, меня завидев.

Помахал и я в ответ, уже чуя запах чужой, под знакомый спрятавшийся.

Кого иного, на глаза полагающегося, верящего им без остатка, провести можно было, не меня.

Подошёл я, покупки-обновку на землю опустил.

- Заждалась я тебя. – подошла ко мне она.

Я ещё раз принюхался.

Ошибки быть не может.

Без взмаха оплеуху отвесил.

Отлетела она, в воздухе перекувыркнулась несколько раз, да по земле проволоклась, пока о ствол дерева не ударилась.

Подняться, кровью, отплеваться не успела, а я рядом уж.

Наклонился, пальцами горло охватил, да подняв, сдавил.

Захрипела, забилась она.

И пусть силы моей осталась мало, вся, почитай, водой в землю ушла от плену, от жизни голодной, да и тех капель всё ж довольно было, чтобы не разжались пальцы мои.

- Меня ли характерника, дедом Свиридом ученного, перевертень ты глупый обманом обмануть мыслил? Спрос с тебя будет только один раз. Получу ответ потребный – жить дозволю. Нет – удавлю тут же, по следу твоё логовище поганое найду и огнём, молитвой пожгу всех и всё дотла. – чуть ослабил хватку, позволил вздох сделать и поднёс лицо разбитое к своему лицу, вопрос задал. – Куда бесовку, чей облик ты украла дела?

Поплыл облик, стёрлись черты, лица знакомые, прохрипела перевертень:

- Салмакис… сестра…

Господи, что я грешный творю?

Успокаиваю хнычущую нечисть, водицой отпаиваю, раны обрабатываю, что сам же только что и нанёс.

Перевертень эта, Ментором назвавшаяся, сестрой моей бесовке приходилась, - её их старшая, Майя, отправила узнать, где там Сальма запропастилась.

Сестру кулёма эта домой спровадила, да меня осталась ждать, чтоб поквитаться с обидчиком сестры, со мной, значит.

Поквиталась.

Вон результат на лице: половина опухла, глаз заплыл, губы-оладьи, в ссадинах вся, хотя кости целы вроде, но то просто воля случая, её удача.

Думал, что мне одна такая бесовка бестолковая попалась, а тут вторая такая же.

Ну кто ж к медведю в берлогу да без гостинцев?

Может, глупость – это у них семейное, эта ж моей вроде, если не врёт (а с бесовки станется), сестрой приходится?

Видел же, боролся с нечистью достойной того, чтобы потом, на земле родной, о том сказы сказывать.

Бирюка одолел, что людей ел и страхом страшным округу покрыл.

С упырями и упырицами бился.

Бесенят гонял мелких, злых и неразумных.

С душегубами местными тоже знакомство свести доводилось.

А тут и не знаешь: то ли смеяться, то ли рядом садиться и плакать.

Подлечил я бесовку эту, через глупость и природу свою бесовскую пострадавшую, рядом сел.

Ночь уж во владение вступила к тому часу.

- Надобно со старшой вашей поговорить, объясниться. Вины Сальмы в отсутствии не было – то дело рук моих. – подумав маленько, сказал я.

Перевертень оживилась-обрадовалась, дорогу тут же согласилась указать, да тут же выложила, что вот там-то я заодно узнаю, как нимф боем бить, красоты

дивичей лишать.

Вздохнул.

Совсем дурная: кто ж о таком заранее предупреждает?

Да и не надобно меня о таком предупреждать, свой ум имею: в бесовском гнездо вольного не хлебом-солью встречать будут.

На ногах перевертень с трудом держалась, поэтому пришлось мне рогатину с покупками оставить, Истинный даст в ночи и в дали от шляха, никто их и не заметит (только кубышку прихватил, невелика она, а то как всё ж кто будет, так на прочее может и не позарится, а вот монеты точно возьмёт), на руки бесовку взял и пошли мы, куда она указывала.

Вышли мы споро к поляне, что в тумане утопала, а там к развалинам камня белого, как кости, что в степи давно лежали.

Принюхался.

Серы, огня пекельного не почуял, дымом, смолами, травами всякими, что сгорали, пахло.

В селению вышли. Чудному.

Столбы каменные кругом.

На одним статуи стоят, на других огонь горит, а третьи в ряд выстроивших крыши держат.

Золото, перламутр, бирюза.

Люди кругом, бесы разные. Встретил даже почти родных, на чертей наших похожих: только у этих почему-то верхняя половина человеческая.

Вино пьют, непотребством разным занимаются, Господи прости.

Взглядом с распутницей одной встретился, так она рукой манить стала, на своём что-то говорить.

Ух… гнездо бесовское…

Знак защитный сотворил.

Молитву прочитал.

- Долго ещё идти-то?

- Пришли. – ответила мне перевертень и рукой указала на ступени, что вверх уходили.

И правда – пришли.

Капище поганое, средь роскоши, нечистой, распутной.

Старшую их, Майю, я сразу признал, не нужны были в том помощники: лежит на подушках, а кругом парубки лоснящиеся, будто салом обмазанные, один ножки ей глади, другом ручку, третий виноградинки в рот вкладывает, с чашей, с кувшином, ещё с чем-то, стоят рядом, сидят, лежат.

- Ну я пойду? – пробовала выскользнуть из рук моих перевертень.

- Погодь, может ещё на что сгодишься. – прихватил я её, удрать не дал.

Бесовское племя подлое, мало ли какую каверзу удумала, тем боле ещё Сальму не видать.

Встал я там, где посвободней было, да к старшой обратился:

- Пани бесовка, дозвольте человеку вольному, под Господом ходящему, слово молвить.

Не обратила она на меня внимания.

Пальчиком своим с ногтем длинным жест сделала, поднесли к губам её кубок.

Во второй раз обратился к ней, топнув в конце.

Несильно тряхнуло капище, никто и не заметил, значение не придал.

Пред тем, как в третий раз к старшой обратиться, прочитал «Живый в помощи», да в конце топнул вновь.

Полетели со столов низких подносы, покатились по полу фрукты заморские, расплескалось вино красное, завизжали бесы и бесовки, в стороны бросились.

Обратила в этот раз на меня старшая взгляд свой.

Ленивое что-то бросила да вновь взгляд отвела, рот новой винограднине подставила.

Не понял я слов её бесовский, а перевертень поняла, затряслась, залепетала что-то извиняюще.

- Чего сказала-то?

Сквозь слёзы, что полились тут же, узнал я, что старшая сказала: накажет и перевертню эту, что поручение не выполнила, меня не покарала.

- Ну то мы ещё поглядим, мы посмотрим. – успокоил я её, да опустил на скамью каменную.

Не сруки драться-бороться с такой ношей.

Вышел супротив меня муж.

Меня может и не выше, но шире. Мышцы так и бугрятся.

Улыбнулся.

Заговорил, долго, торжественно.

Представлялся, значит.

Представил и я, как у нас в степи, коротко да по делу, имя назвал своё, сыном чьим являюсь, не станицу, а войско своё назвал, потому как пусть и разбили нас, а пока домой не ворочусь, служба моя не окончена.

Стали мы бороться.

Положил он меня на две лопатки приёмом свои хитрим.

Поднялся я, отряхнулся.

Поклонился, мастерство признавая.

Пусть и служит он бесам, а мастерство всё ж достойно того, чтоб быть признанным.

Положил он меня на две лопатки и во второй раз.

Поклонился, я и в раз второй.

А в третий раз грохнул о оземь уже я его, как учил дядько Дюжий.

Не поднялся муж, чтоб мастерство моё признать, силу.

Вышел тогда второй муж.

В кулачном бою с ним силой мы мерились.

С хитрецой оказался боец, думал, не примечу я, как он, удар мой получив, к земле припадает, а затем, встав, с силой новой бьёт, будто только что мы с ним сошлись.

Ухватил я тогда его, над землёй-то поднял и не разжал руки свои пока он на языке своём о пощаде молить не стал.

Как положено был и третий бой.

Выше против меня вылитый Архистратиг наш, каким его в книгах рисуют.

Доспех сияет золотом, глаза – огнём, а в руке – копьё.

Не стал он со мной силой мериться.

Копьё своё остриём в землю направил, и говорит:

- Вижу я, хоть и молишься ты Истинному, за силой к нему обращаешься, но сражаешься, кровь льёшь ты и в мою славу. Ибо я – есть война. Я – есть воинская доблесть. Ты не приносишь мне жертв, не зовёшь меня по имени, но каждый твой удар – это моё дыхание, каждая твоя рана – моя отметина на теле твоём. Ты думаешь, что сражаешься за Него. Но знай: когда ты вступаешь в бой, ты вступаешь в мои владения. И я, Арес, признаю тебя.

А следом повелительное что-то старшой сказал, та аж скривилась, будто жабу проглотила.

Привели мне мою бесовку.

Изумлена та была до безобразия.

- Вывести сможешь?

Кивнула, повела.

Перевертень за нами увязалась.

Не долго правда сама иди смогла – пришлось нести её опять.

Потрескивают негромки ветки в огне.

Светит месяц.

Булькает кулеш в котелке.

Ходил за одну бесовку поговорить, теперь двух кормить буду.

Как то безобразие вышло – одному Господу ведомо.

Не гнать же их?

Сами ж вроде со мной пошли.

Вздохнул… грехи мои тяжкие…

Протянул Сальме её чувяки, брыль.

- Страшненькие. – повертев обновку, вынесла вердикт бесовка.

- Как раз тебе под стать.

Судя по смене эмоций, сперва она собиралась расплакаться, потом передумала: решила обидеться.

- А мне? – тут же протянула ручки свои её сестра.

Ментор… бесовское имя… это «тор», как «тр» звучит, будто лошадь пытаешься остановить… Ментур?.. Меур?.. не то всё… Мотря, вот, Мотря…

- Тебе, Мотря, завтра купим, если и правда удумала с нами идти.

- Мотря? Это я – Мотря? Я…

- Соглашайся, сестра, он не любят, когда ему перечат… - оборвала её Сальма, - ещё высечет, это у него средство от всего…

И страдальчески зад свой продемонстрировала.

- А меня он как ударит, без слов, и душить, я думала, всё…

Вздохнул… что творится… бесовки друг дружке на меня жалуются, а мне отчего-то повиниться перед ними хочется, перед бесовками, которые козни против меня разные строили.

Грехи мои тяжкие…

- Галдёж бабий свой прекращайте, кулеш есть будем. – прервал их взаимное бед перечисление, корнем которых был я.

Мотря сперва, как и сестра, нос воротила, но потом ничего – втроём ели.

Поутру заплёл косу Сальме.

Мотря и себе такую же косу попросила. Через сестру попросила.

Заплёл и ей – мне не сложно.

Перед тем, как в путь двинуть, по здравому разумение прикинули: Мотря своими ногами нежными дорогу не осилит.

Решение нашлось.

Бесовское.

Обернулась Мотря мной.

Не прям мной, не очень-то и похоже вышло, но старалась мной она (не врала вроде, ведь натурально, но всё ж бесовка она, с неё станется, может, и подшутить решила).

Правда, ничего толком у Мотри не вышло: чуть косолапа, горбится, будто тяжело на двух ногах стоять, грудь, плечи и лапищи не в волосах, в шерсти.

Посмотрел я на это, да рукой махнул: пусть будет. Перед тем, как в город входить свой прежний облик вернёт.

Чудней компании и вообразить нельзя, но отчего-то шлях приветливей стал, да и холмы пусть всё также дыбились вокруг, горизонт скрывая, пряча, да всё ж где-то проглядывала меж ними даль, простор, почти степной.

Идём мы.

Не по земле просёлочной, а по дороге каменной, старой, давно деланной. Вон камни покрошились, колесами телег выщерблены, а держатся.

Признать стоит – понимают фряги каким шлях быть должен. В родной край эту дороженьку – не знали б люди о распутице, что после дождя, особенно по весне да осени приключается, да шлях не аранж – не прихватишь косточку, чтоб в земле родной посадить.

Пыхтит Мотря в облике своё новом, потеет. А чему ей не потеть-то: вон сколько шерсти себе отрастила.

Жалуется-плачется, что поколотил я её без вины, что старшая их бесовка наказать её хотела, что иди приходится эдакой чудо-юдой, в сестра вон при обновке, а у неё такой нет – не купил я. И всё болит, и солнце жаркое, и пыли много. И куда мы вообще идём такие?

Сальму куда больше причитаний сестры занимал брыль. И так его повернёт, и так, и тут согнёт, и там расправит, цветочек-травинку поднимет, приладил, покажет, Мотре, та головой своей лохматой покачает (и зачем косу заплетал если она эти чудищем обратилась?), и Сальма по новой всё переделывает.

Ишь ты… хоть и бесовка, а дивичье всё ж в ней вверх берёт.

И как с такого дела не затянуть песню?

Никак не можно.

Вот я и затянул.

Як служив я в пана

На пэрвое лето,

Заробыв я в пана

Курочку за это

А та курка - щебатурка,

Моя курочка.

По двору ходэ, цыплят водэ,

И крычить, тай гука,

Ой куда, куда, куда.

По двору ходэ, цыплят водэ,

И крычить, тай гука,

Ой куда, куда, куда.

- Что за глупость? – как допел я, возмутили мои бесовки. – За год службы – курочку?.. Гуся?.. глупость это, не служба, нет в ней никакой выгоды…

Улыбнулся я, бороду огладил.

Как не улыбнуться? Вон какие выросли, а умом, что дети малые.

- Так не про выгоды песня ведь, про жизнь. Речь в песне про хлопца, который год от года наращивает своё хозяйство, как наращивает жизнь. Первый год – курочка. Мало? А ты попробуй сам прокормить курочку, когда у тебя ничего нет. Она тебе и яйцо даст, и цыплят выведет. Курочка – это начало. Это символ того, что у хлопца появился свой угол, свой двор, своя забота. На второй год – петух. Хозяйство растёт. На третий – утка. Это не просто птицы – это круги жизни, которые расширяются. От малого к большому. А в конце – после пяти лет трудов, хлопец «зарабатывает» дивчину. Это песня о том, что хлопец, который всё это время копил добро, вдруг получает не вещь, а душу, живую, жену, семью.

Не очень-то поняли меня бесовки.

У них-то оказалось добро, положение, от родителя переходит, как у людей, - если славные у тебя родители, то и ты само собой славный от рождения выходишь и все уважать тебя должны, а коли не повезло тебе с родителями – то вот как бесовки мои в прудах да речушках обитать тебе, поручения старших выполнять и о большем не мечтать. Будто не бесы они – люди в крепости, на земле панской.

Были…

Теперь беглые они – две беглых бесовки да вольный во земле чужой.

Як служив я в пана

На пэрвое лето,

Заробыв я в пана

Бесовочку за это

- Что б без ваших этих, бесовский, штучек. – пригрозил я спутницам перед тем как в селение входить.

- Да какие штучки… - тут же почти в один голос запричитали они, лица, свои, ушибы иные показывая.

Не поверил я им ни на грош: косы гладят, цветы в них добавляют, платья от пыли отряхиваю, крутятся, выясняя с какой стороны меньше видно, что с лицами у них.

Бесовки верны природе своей бесовской оказались: ничего такого, чтоб за лозину взяться не сделали, а всё ж одного их вида хватило, чтоб все мужчины от мала до велика вслед нам смотрели.

С того дела даже два скандала случились, когда жены увидели, с чего это их мужья замерли.

Это они правильно. Я про жён, что скандалы устроили, а не про мужей, что на бесовок заглядывались.

Чувяки, брыль Мотре купил, бесовка тут же в обновку нарядилась, а рядом уже Сальма: в руках свёртки разные.

- Что это? – спросил я.

- Мясо, сыр, вино…

- Не слепой – и так вижу. Как добыла?

- Подарили…

- Так взяли и подарили? – были у меня основания чтоб сомневаться.

- Ну может быть я им улыбнулась… - не выдержав моего взгляда призналась Сальма, - но никакие это не бесовские штучки…

- Это мне решать. Показывай, кто подарил.

Хоть через бесовку и стало возможным общаться с фрягами не только лишь жестами, а всё ж убедить торговцев взять деньги за «подарки» мне не удалось.

Этим я даже их обидел – то и без бесовского перевода ясно стало.

Далеко от селения отойти не получилось – устали бесовки с непривычки.

Пришлось на ночёвку останавливаться.

Ну и кулеш я наварил с мясом, что бесовка добыла.

Всем кулешам кулеш.

Атаманский кулеш.

Сверху аж жир, да не тонким слоем, а таким, что губы, язык ожёг я, когда попробовать решился – готов ли.

Смеяться бесовки надо мной стали.

Пусть им.

- Барбар, ты больше ничего готовить не умеешь? – после того, как котелок дно показал, спросила меня Сальма.

Пожал плечами:

- Готовить это про дом, про жену, а какая готовка в походе? Всё что нашлось – в котёл и кулеш готов.

Вздохнула Сальма, на сестру свою поглядела, а та ей:

- Не смотри на меня, я тоже готовить не умею.

В который раз от улыбки не удержался:

- Чем же вы таким занимались раньше: в бесовской науке ничего не смыслите, готовить не умеете?

Разобиделись на меня бесовки.

Рассказали, что всё, что нужно им делать уметь, - всё умеют.

Волосы, сидя у воды, расчёсывать – это раз.

С парубками непотребства разные творить – это два.

На празднества разные быть приглашёнными и там веселиться – это три.

И серьёзно так говорят ведь, будто это я тут дурень, а не они.

Отсмеялся я, да принялся бесовкам рассказывать, как жизнь устроена.

Тут уж они стали надо мной смеяться, мол, это у вас, у людей, а у них, у нимф, всё не так, всё иначе.

- Ладно, - говорю, - рассказывайте, как оно у вас, у бесовок, устроено: посмеюсь вдоволь, перед тем, как на боковую отправляться, а потом, как вернусь,

земляков брехнёй вашей смешить буду.

Начали они в два голоса рассказывать сказки свои бесовские, именами странными густо посыпанные.

Но не было в них добра, семьи, урока деткам.

Зато были отцы, пожирающие детей своих из страха, что те власть их отберут. У нас, в степи, отец за сына горой стоит, а тут – Кронъ, что детей своих глотает, как волк ягнят. И мать, Рея, вместо сына камень ему подсовывает – будто бы это не родители, а вор с вором торгуются.

Были дети родителей, убивающие из причин глупых и нелепых. Сын свергает отца, внук – деда, и так без конца, как змея, что свой хвост жуёт. Ни чести, ни совести, ни завета «не убий» - только сила, только страх, только кровь.

Месть и ненависть всех ко всем была. Божки эти поганые, Господи прости меня, бесовские, друг дружку не любят, друг дружку обманывают, жен воруют, мужей калечат. Зевс, главный у них, - как пан на селе: что захочет, то и сделает, а люди потом страдают.

Кровь и измены были. Гера мужа ревнует, а он – её не слушается. Афродита мужа-кузнеца обманывает. У нас, вольных, за такое и из станицы могли выгнать, а у них – обычное дело.

Бесовские сказки, бесовская наука.

Вот оно как…

Блудъ – как цель высшая и награда за всё.

Предательство и подлость – за подвиг выданные.

Всё себе и ради себя, но с оглядкой на того, кто там сверху, чтоб не угодить ему.

Поглядел на бесовок, что мне эдакие ужасы, да с подробностями, кто там деточек варил, кто на стол подавал, рассказывали и подумалось: может оно и неплохо, что эти две глупые такие выросли, а то б тоже сейчас где-то такое же творили.

А ещё понятно мне стало – отчего местная нечисть злая такая, молитвой, словом её пронять нельзя почитай никак.

Другая тут земля.

Совсем другая.

В родном краю земля наша, людская, Истинным данная, чтоб плодились мы и множились.

Тут – люди гости, а земля вся – бесам этим принадлежит, божкам поганым их, потому и живут они везде, в рощах, в ручьях, водой и ветром правят.

Вздохнул.

Смогу ли выбраться, найти дорогу к родным станицам?

Останусь ли, сгину, как побратимы мои, в земле этой?

- Пойду я, человек вольный, на восход солнца красного. Попрошу ветра буйного: отнеси мою кручину на родимую сторонку. Как трава без дождя сохнет, так и я по дому сохну. Мать-земля, дай силы дождаться. Вода-сестрица, смой печаль. Месяц ясный, укажи дорогу обратную. Чтобы служба моя скороталась, начальники смиловались, дорога домой короталась. – наговор, всем известный, многажды слышанный и сказанный, прошептал я.

Не знаю, от чего больше проку было от шёпотков моих, трав или от молодой дивичьей силы, но утром синяки на бесовках уже начали приобретать серо-жёлтый оттенок.

Косы заплетать не стал.

Научил.

Пусть сами заплетают – а то это не дело, чтоб вольный дивчатами в их возрасте косы заплетал.

Кулеш вчерашний сил прибавил мне изрядно: забавы ради, подхватил Сальму и усадил себе на плечо, затем на второй плечо усадил её сестру.

Покружился, наполнив округу восторженно-испуганный визгом бесовок, да вернул из на землю.

- Пошли, что ль?

- Пошли. – согласно кивнули Сальма, а Мотря добавила. – А куда мы идём?

Как дети, право слово.

Ну куда может идти вольный да в чужой земле?

- В край родной, где люди вольные живут. – ответил я, понимая, что улыбаюсь.

- Никогда не слышала. А где это?

Я пожал плечами: не слышали фряги о земле моей, но я верно знал одно – войско шло на запад, значит, родина моя – на востоке, в той стороне, в которой встаёт солнце, чтоб свет божий осветить лучами своими.

- Так ты выходит, как Многостранствующий, тоже дом свой ищешь?

- Выходит, что так… кем бы он ни был…

- О, ты не слышал о Многострадальном? – оживилась Сальма.

- Сестра, о Многомудром надо обязательно рассказать.

- Только начать нужно будет с того, как он у Илиона оказался.

Моё мнение относительно – нужно ли мне это всё или нет, бесовок не интересовало, что роднило их с нашими, станичными, дивчатами.

Послушал я о Хитроумном.

Долгая история оказалась.

И такая же, как и те, что я вчера вечером слушал.

Как положено у панов, начали они войну из-за мелочи, из-за яблока, что две девицы не поделили.

Взгромоздили глупость на гордыню да назвали это войной, принявшись резали друг друга под стенами Илиона, пока не пал город.

С историей этой дошли мы до нового селения, где поп указал дорогу мне – в той стороне вроде завелась какая-то нечисть, что урожай губила.

Там настало время второй части истории, о том, как Многострадальный домой добирался, по морям мыкался, и мешали ему все, а больше всех мешал себе сам Хитроумный. Всех людей своих растерял-погубил. Одних – циклоп пожрал. Других – свои же и убили, приняв за врагов. Третьих – он сам бросил на чужом берегу, потому что боялся их ропота.

А всё о того, что Хитроумный этот Посейдона разгневал – сына ему ослепил.

И ведь понимал, что виноват (а не понимать он не мог, раз такой умный), а признать не мог, как иные паны делают: и знают, что не правы, но до последнего стоят на своём, пока всё не рухнет.

Не без правды, простой, людской, история, и её, правды той, там поболе того, что во вчерашних было, - то я признал.

Только всё равно не стал бы её детишкам свои будущим рассказывать. Не стал – вот и всё тут: Хитроумный этот в Истинного не верил, своим божкам поганым молился, вроде как всем говорил – домой хочу, там жена, детёнок ждут, а сам с каждой блудницей, что ему по пути встречались возлежал.

Тем я с бесовками поделился.

Не согласны они оказались.

Поспорили мы знатно, поругались, но в конце признали бесовки мою правоту: я как раз уже первый пруток начал выламывать, а они обе сразу и признали, что не дело это жене законной изменять, божкам поганым молиться и людей из-за глупости-гордыни губить.

Утром проснулся и видно же – успели ночью о чём-то сговориться.

Переглядываются, похихикивают, на меня украдкой поглядывают.

Косы друг дружке заплели, с цветами, брыли надели, тоже с цветами-листочками всякими.

- Чего удумать успели? – как шлях под ноги лёг, спросил я.

- А тебе имя «Антересиот» нравится?

- Нет, дурное оно.

- Ничего оно не дурное… - обиделась Мотря.

- «Рабдофорос» звучит ведь куда лучше, да? – тут же вмешалась Сальма.

Понятно, решили мне прозвище выдумать.

Вот точь-в-точь станичные дивчата. Только дурнее.

- Высеку. – памятуя о том, что девчины, если им какая блажь в голову втемяшится, сотворить могут, в воспитательных целях предупредил я.

- Зря ты так… мы же ради тебя стараемся… тебе имя громкое нужно, чтоб люди прославляли твои подвиги…

Вот оно как. Не прозвище, имя. На манер свой, бесовский.

- У меня уже есть имя. Родителями данное. И другого мне не надо.

- Надо. Имя твоё грубое, чужое. Певцы всё равно его переиначат под свой манер, поэтому лучше заранее обзавестись красивым именем.

- Сдался я певцам этим, чтоб они имя моё переиначивали ещё…

- Да ты что такое говоришь?. ты ж самого Милона Кротонского на лопатки положил, а борец он был знатный, шесть раз в Играх победу одерживал… Антея одолел – это событие тоже из редкий… а то что Арес тебя признал, так вообще…

- Если уже не поют об этом, то скоро запоют… у нас ведь скучно, а тут такие события… - подхватила Мотря, - поэтому имя непременно нужно, и моё «Антересиот» - куда лучше звучит, чем её «Рабдофорос»… и если хочешь знать, Салмакия, этим своим именем…

Договорить Мотря не успела – Сальма ей рот зажала.

- Ты меня за палец укусила. – взвизгнула бесовка.

- А нечего мне рот закрывать, я всё равно расскажу. – тут же ответила ей перевертень.

Отвернулся я, чтоб улыбки они моей не видели, да песню затянул.

Ехали вражины до себе до дому,

Пидманули Галю, забрали с собою.

Ой, ты Галю, Галю молодая

Обманули Галю – забрали с собою.

Замолчали, бесовки, слушать стали.

Распинали Галю жирными руками,

Привязали бедную, да к сосне косами,

А под ноги Гале хворост набросали,

От верха до низу сосну зажигали.

Сосна догорает, Галя призывает:

«Ой, кто меня слышит, пусть меня спасет».

Вольны люди услыхали, к лесу прискакали –

Врагов рубали, Галю выручали.

У кого есть дочки, пусть их научает:

До лесов с врагами гулять не пускает.

- И ничуть мы на Галю не похожи. – сообщила мне Сальма.

- Вот ни капельки. – поддержала её сестра.

- Ни капли, - согласился и я, - вы ж дом родной не оставили чтобы идти неизвестно куда с иноземцем… и кос у вас нет, за которые так удобно к дереву привязать…

Присев чуть, как зарычу, из самого нутра, рык, низкий выпустив.

Завизжали бесовки, бежать бросились.

Сальма только шаг-другой сделать и успела, в платье запуталась, да на дороге растянулась, а Мотря – ничего – хорошо так побежала, не угнаться.

«Ну что я тебе такого сделала», «ну за что ты со мной так», «уже к почти всё зажило, а теперь опять» - причитала Сальма, пока я обрабатывал полученные ей после падения раны.

Губы разбиты, нос тоже, на щеке ссадина, на ладонях, на локтях, на коленях тоже.

Вздохнул: а как у неё получается так падать, что живого места не остаётся?

Вернувшаяся Мотря, утешала сестру, добавляя в её причитания «ничего я не испугалась».

То-то я только и видел, как пятки её сверкали. Насилу чувяк нашли, что с ноги у неё слетел, - так она не испугалась.

Повинился я за шутку неудачную, да спросил: что за дурь они с подвигами удумали, а то звучали их слова так, будто и после того, как раны их сойдут, намерены бесовки и дальше со мной быть.

Оказалось – не только намерены, но ещё и собираются при каждом подвиге присутствовать, а то скоро их божки поганые совсем из мира уйдут (попы-то местные всё ж дело своё знаю, раз не по нраву стала нечисти земля эта) и станет у них там совсем всё скучно, а так хотя бы будет что вспомнить. Это они ночью придумали, когда поглядели, что синяки почти сошли и можно к старшей их воротиться-виниться.

Хоть и грешно это, да я всё ж обрадовался тому, что пока эти две бесовки собираются при мне остаться.

Ночевать расположились у реки.

Рыбы стараниями бесовок у нас было столько, что я объелся, и на утро осталась еда не потому, что так надо, а потому что больше съесть уж нельзя было.

К следующему полудню мы добрались до селения, о котором мне говорили.

Что оно это – то ясно сразу стало – пшеница повалена, потоптана.

И следы везде – копыта козлячьи.

Сердце так и сжалось – столько труда, столько людского пота прахом пущено.

Коснулся колосьев.

Славные, полные.

Ещё седмицы две и можно жать.

Только к земле прижаты копытами, не поднимутся боле, не накормят людей те колосья.

- Черти… - сразу стало всё понятно.

- Не знаю, кто такие «черти», но это не они. Это сатиры.

Сатиры?

Верно, это те, кого я в капище том поганом видел, те у которых верхняя половина человеческая, а нижняя козлиная.

- Бакхид и его стадо, - следом дополнила Мотря, - была я тут, ничего интересного…

Сказала и примолкла.

Поняла, что сейчас сказала.

Сальма с ехидной улыбкой поинтересовалась: буду ли я Мотрю за это сечь.

Разочаровал бесовку:

- Это хорошо, что там у нас знакомцы есть, может, разговором в этот раз обойдёмся.

- Говорить с сатирами? Они ж глупые, совсем.

- Прямо так уж и совсем?

- Совсем-совсем. – заверили меня в голос бесовки.

Порог церкви местной бесовки без страха переступили.

И ничего с ними не сделалось.

С их помощью разговор прошёл быстрее и проще, чем то слушалось у меня обычно, а как обговорили мы всё, покормил поп нас, даже с мясом.

Мясо – это хорошо.

В нём вся сила.

Распрощались мы да пошли в поля, ночи дожидаться.

А про себя я в который раз подивился странной непривычности этой земли: бесовки в церкви с попом говорят и ничего им не делается.

«Может всё дело в том, что у попов местных бород нет?» - народилась мысль у меня.

Пришлось потом помелом мысль ту из головы выгонять.

Где ж это видано, что святость размером бороды мерялась?

Ох, ругался бы отец Иннокентий, скажи я при нём дурь такую.

Бесовок о сатирах расспросил, чтоб понять, как ловчее с ними совладать, если сговориться не удастся.

Оказались – забулдыгами они мелкими. Оружия никакого не носили и не признавали, да и воинов хоть чем-то славных средь них отродясь не водилось. Разве что Пан (имечко смешное, послушать бы как кличут его – пан Пан), так он, со слов бесовок, к этим гулянкам отношения не имел никогда, в чащобах отсиживался.

Бакхид и стадо его были из свиты Диониса, любителя выпивки, театра и прочих непотребств, поэтому серьёзного сопротивления даже в случае необходимости силового решения проблемы быть не должно.

Единственное что могло стать проблемой – сатиров этих могло быть в стаде под сотню. Но они ж не совсем дурные – поломаю с дюжину – остальные поглядят на это да поохолонут.

Бесовкам план понравился.

Оценили.

Опять обсуждать стали, как им меня своим подружкам-сестрам представлять, которые обязательно будут с сатирами.

Я притворился, что не слушаю их.

Глаза прикрыл и приспнул: сатиры эти сюда пьянку пьянствовать и гульку гулять заявятся, всяко услышу, нечего почём зря себя ночным бдением изматывать.

Силы беречь надо.

На рассвете стало ясно – сатиров не будет.

О том попу доложился через бесовок.

Вновь оказались накормлены. Скромно, но сытно.

Всё ж хоть земля чужая, хоть попы здешние мало на наших похожи, а заветы Истинного чтут по-своему.

Обычно, церкви я покидал сразу после разговора, а тут время появилось.

Решил чуть подольше посмотреть.

Хоть и чудно, да красиво – то не отнять.

Не дерево, как у нас, а камень. Любят его фряги.

Свод – высоченный.

Окна – тоже высокие, узкие, как копья, и в них – цветные стёкла, картины из Писания изображающие.

Статуи да такие подробные, такие искусные, что можно разглядывать, а новые детали всё находить.

Красиво, нарядно.

Будто на празднике оказался.

Разве что лавки… негоже во время службы сидеть, как за столом в шинке каком-то…

- Это ты ещё храм Артемиды Эфесской не видел. – видно взревновала Сальма к красоте. – Не храм – целый лес из камня! Сто двадцать семь колонн, каждая – подарок от царя, каждая – выше самого высокого дерева, восемнадцать локтей в высоту! И встают они в два ряда, как строй воинов, и держат на плечах своих мраморное небо.

- А мрамор… он не просто белый, он – светящийся. На солнце – как снег, а в тени – как лунный свет, что застыл в камне. – поддержала её сестра.

- То храм божков ваших поганых, бесовкий, нет нужны мне его видеть. – отмахнул я.

- Бесовских, бесовский, что ты заладил?.. не бесовки мы… нимфы… сколько раз я должна это повторять?..

Вздохнул: не хочешь, а признать правоту Сальмы когда-то придётся.

Хоть и всё в земле фряжьей не такое, как в краю родном, да на бесовок эти двое мало походят, а уже тем боле на тех суккуб, о которых отец Иннокентий предупреждал.

Скорей уж наши русалки.

С хлопцами заигрывать любят.

У воды опять живут.

Только наши, родные, русалки девицами раньше были, оттого и сказы о них есть, где хлопцы с ними свадьбы играли, тем души их спасали, к свету Истинного, Господа нашего, возвращали.

А эти клянутся, что не были отродясь людьми. Обижаются, когда я сказы деда Свирида пересказываю, о том, как такие же пропащие, как они, жёнами людей вольных становились, детишек плодили.

- Не бесовки. Нимфы, нимфы. – признал я правоту их после думы долгой.

Заулыбались сёстры, да так, что подумалось мне: может, бесовки эти вокруг пальца меня обвели, обманули…

И пусть.

Большой беды с того случить не должно.

Не пришли сатиры и во вторую ночь, и в третью.

Думал, скучно моим спутницам сделается, не привычные они к сиденью такому.

Господи прости, как же я ошибался.

Синяки-ссадины подчистую с них сошли, и потянуло к нам со всей округи парубков да хлопцев, да мужей, будто мёдом у нас намазано.

Кто с цветами, кто с еды корзинкой, кто с вина бутылкой, чтоб внимание именно к себе привлечь.

- А я тебе говорила: они сами всё. – под вечер, когда очередной ходок ушёл, торжественно заявила Сильви, гребнем подаренным волосы расчёсывая.

- То, что мужички местные на женскую красоту падки, никак с тебя ответственности не снимает. Запримечу что побольше смешков и взглядов – высеку.

- Опять меня одну?

- Обоих.

- А меня-то за что? – недовольно воскликнула Мотря.

- Не про тебя речь. – успокоил я её. – Обоих – это Сальму и того, с кем её застану.

- Не понимаешь ты ничего… это может быть часть нашей природы, может быть для нас, для нимф, красота и всё, что из неё проистекает также естественно, как для тебя, ну, например, сечь ни в чём неповинных нимф…

- Понимаю, получше, чем ты представить себе можешь… сабля вострая для сечи создана, для смерти, да в ножнах она жизнь свою проводит, свет божий видит лишь когда иного пути нет. Огонь степь пожечь может, беды великие причинить, а всё ж людей греет, еду им готовить помогает. – вздохнул. – Что делать – это не вопрос природы, а вопрос выбора. Куда ты красоту свою Истинным данную употребишь – в дела блудные, в дела славные – то ты сама решаешь, а не природа твоя.

- Как у тебя просто всё выходит. А вот если они всё приходят и приходят? Вон смотри ещё один.

- Так ты им не улыбайся, глазками не подмигивай. Скажи «не люб ты мне».

- Так они меня и послушают…

- Если не послушает кто, я рядом – объясню.

- Так ты ж языка не знаешь.

- Мне для таких дел язык не нужен. Лозинки хватит или затрещины дружеской.

Подумала Сальма, поднялась и пошла хлопцы, что невдалеке мялся, не решался подойти.

Сказала что-то на фряжском, погрустнел хлопец, постоял да поплёлся в селение, а нимфа воротилась да с цветами в руке.

- А цветы зачем взяла? – удивился я.

- А что не надо было?

- Нет, ничего брать не надо. Отказала и отказала.

- А если что ценное принесёт кто? Что тоже не брать?

- Ценное, так тем более брать не стоит.

- Но он же принёс, значит, надо взять…

- Нет.

- Ну почему?

- Потому.

- Нет, ты мне ответь. Почему?

Ответить я не успел: послушалось улюлюканье-рожков, гомон.

Сатиры.

Толпа козлоногих, козлорогих созданий, в окружении нагих хохочущих бесовок появилась со всех сторон сразу, наполнив пространство гулом разухабистой гулянки, сквозь который через неравные промежутки прорывался девичий восторженный визг.

- О, смотрите! Человек!

- А воняет какой-то животиной…

- Точно, так Аркас вонял…

- А мне он нравится, как тебя, бородатик, зовут?

- Ментор ты ли, подруга? И сестру свою прихватила?

- Что это за тряпки на вас?

- Зачем вы это одели, скидайте быстрее.

Вопросы сыпались градом, и я их понимал.

Бесовские проделки, да нет такой бесовской хитрости, какую вольный себе в пользу обратить не смог бы.

Вот сейчас ей благодаря объясняться мне проще будет:

- Старший где? Бакхид где?

- Ой, зачем тебе он, когда я рядом. – протянула ко мне руку бесовка.

Схватил я ту руку, чтоб не тянула, и вопрос повторил.

В ответ визг и слезы, мол, руку я ей сломал.

- Ты чё творишь?

- А ну подержите мой пифос я щас с ним поговорю.

- Да ты кто такой?

Дальше слушать смысла не имело.

Провалились мои переговоры.

Я ударил первым.

Троих уложить успел до того, как поняли сатиры упитые, что творится.

Ещё двое на землю прилегли до того, как ринулись на меня оставшиеся.

Воняющая козлятиной и хмелем волна нахлынула, пытаясь сковать, обездвижить.

Бить я стал во всю ширь, с размахом, кружась, отвоёвывая пространство, не позволяя задавить меня числом, повалить на землю, затоптать.

Правы оказались спутницы мои – сатиры глупей, чем нужно оказались.

Не остановил их и десяток собратьев на земле лежащих и второй, что был уже на подходе.

Пёрли они всё и пёрли.

Танцует мишка, пчёл надоедливых гоняет, может и кажется, что нет вреда ему от насекомых мелких, только всё ж жалят они его, да и силы-то его не безграничны.

Долго бился я, да всё ж повалили меня, топтать копытами своими стали.

Держусь, голову руками прикрыл, спину под удары подставил, она у меня крепкая, закалённая плетью да водой морской.

Наскучила сатирам меня топтать.

Стихли удары.

Разговор пошёл о том, что рассвет уже скоро, что гулянка их испорчена.

Не тот вольный, кто никогда не падал, а тот, кто упал да поднялся.

Заставил спину свою разогнуться.

Руки свои.

Ноги свои.

Поднялся.

Во весь рост, выпрямился.

- Вздумаете и завтра сюда заявиться. Я буду вас здесь ждать. Будем опять биться. – разлепив губы кровавые, замершей толпе сообщил я.

Отделился от толпы один сатир.

- Не соврали значит… ты и правда – ареифилос… делать нам больше нечего, как с безумцем на войне помешанном связываться, время своё тратить, а мест для гуляний и без поля этого полно. – это он мне, а потом уже своим. – Верно ведь говорю?

Все согласно закивали и начал расходиться.

Вскоре один я стоять в поле остался.

Не один.

Спутницы мои стоят тоже.

- Ошиблись вы с сотней. Поболе их было. – покачал я головой. – Поболе.

- Так Бакхид другие стада позвал. – пояснила Сальма.

- Да, тут их не меньше трёх было. – подтвердила Мотря.

Смотрят, улыбаются.

Довольные.

- Что довольные такие?

И тут уж они рассказали, как другие нимфы им позавидовали, что они с героем вместе путешествуют, как в свиту просились, а они всем отказали.

Смешные они всё же.

Улыбнулся я, да, велев не беспокоить, на землю опустился.

Нужно хоть немного поспать, восстановить силы.

Не знаю, что что нимфы поняли под «не беспокоить», но вскоре я очнулся от того, что меня толкали в плечо.

- Мы поесть принесли.

Раздобыли ж где-то миску жаркого и добрый кус хлеба.

Ложку мою подали.

Сами есть отказались.

Не поверил я им.

Заставил рядом сесть, и также как кулеш, жаркое мы ложкой одной съели.

Посидел немного.

Подумал.

Спать уже не хотелось, значит, нужно мыться, раны обрабатывать.

Встал.

Сделал пару шагов.

Вроде должен до реки дойти.

Дошёл.

Как не дойти.

В воду опустился.

- Может тебе Иасис позвать? Она знатная целительница. – предложила Сальма.

Нимфы со мной к реке пошли.

И взгляд ведь не отвели, когда раздетый я в воду входил, а затем и сами начали в воде играть-плескаться.

Нагие.

Видел бы кто из станичников да подобное непотребство.

- Не нужно. Живуч я, что твой степной ковыль.

- Ковыль?

- Ковыль. Трава такая. Если ты не видела ковыль, ты не видела степи.

- А какая она твоя степь?

Вздохнул.

Можно ли словами простыми, языками чужими изношенными, описать край, столь любимый сердцем моим?

Может ли мать словом одним выразить всю любовь свою к дитяти?

Вздохнул.

- Степь – это не просто земля. Это дыхание Божье, простертое от края до края сколько хватает глаз. Выйдешь ты, поутру, когда солнце только-только край неба кровянит. А перед тобой – не поле, нет. Перед тобой – море. Только вода в том море не синяя, а серебряно-седая. Это ковыль-трава поднялась. Стоит она высоко, коню по грудь, и молчит. Но только ветер дунет – и начинается чудо. Глядишь, а трава эта не стоит, а течет. Волна за волной, как зыбь по воде. И шум от неё не как у леса, не скрипучий, а тихий, ласковый, будто сама земля тебе старую молитву шепчет. Шелест этот дороже золота. Он усталому сердцу покой даёт. И пахнет от неё не сеном, а горьким степным мёдом, полынью да вольным ветром. Вдохнёшь раз – будто родился сызнава, вдохнёшь второй – и не забыть тебе уже никогда тот аромат. А закат… Вечером, когда солнце умирает за бугром, ковыль вспыхивает алым золотом. Стоит рать бессмертная, вся в огне, головы склонила, будто люди вольные на молитве. Вот это и есть Степь. Не видела ты, как ковыль-трава седая под ветром волнуется, как она с небом разговаривает – считай, и души вольной не видел. Потому что степь – это не то, что под ногами. Это то, что внутри тебя ширится, когда ты на неё смотришь. Сердце там стучит по-другому: ровно, гулко, и мыслям вольготно, как станице на

просторе. В краю том живут люди особые. Вольные, что скачут по степи, не кланяются они ни царю, ни паше, ни панам иным. Сама Смерть-Смертушка им за матерь, а Хлопец Вольный за батюшку… Степь… её надо видеть…

Умолк я.

Не слезу, брызги водные с щеки смахнул.

Разыгрались нимфы, вот и на меня немного попало.

Награду забрал вечером.

В кубышку спрятал. Раздулась она пуще прежнего.

Поп предлагал остаться у него, пока раны не заживут.

Отказался.

Нельзя останавливаться, под крышей прятаться.

Корни пустить могу, завязнут они в земле чужой, в край родной не пустят.

Нельзя.

Идти нужно.

День за днём.

Шагами шлях мерить, искать путь-дорожку, что к станице родной, к дому отчему приведёт.

Улыбнулся, когда нимфы поняли, что кому-то придётся добро им подаренное на себе тащить.

Добра там было – малость малая, а всё равно ж вес немалый для нимф, к труду неприученных.

Подумали они, да всё оставили, и цветы, и вина бутылки, и гребень.

Еду только и сказал я их с собой взять: раз уж идут со мной, пусть учатся свою часть общей ноши нести.

Так и оставили мы за спиной то селение.

Две нимфы с узелками, вольный с рогатиной, на которой котелок висел и узелки невеликие, и песня на просторе гуляет.

Ой, да не ястреб сокола убил,

Ой, да не коршун заклевал,

Ой, да а побили сокола вороны черные,

Ой, да налетели стаей.

Ой, да били сокола, клевали,

Ой, да перья рвали, кровь пили,

Ой, да думали – убит сокол,

Ой, да не встанет больше.

Ой, да а сокол встрепенулся,

Ой, да крылья расправил,

Ой, да взлетел выше прежнего,

Ой, да воронов разогнал!

Кулеш поутру готовил силами нимф.

Презабавное и немного глупое занятие вышло.

Нож я зря Сальме доверил: она тут же порезалась.

Мотря расплакалась вместе с сестрой, а потом обе жаловаться начали, что узелки нести тяжело им, ручки устают, что чувяки ножки их нежные натирают, и что где это видано, чтоб нимфы кулеш готовили?

Посмеялся я знатно.

Успокоил объяснил, мол, представьте только как подружки ваши обзавидуются, когда узнают, что вы готовить умеете, а они – нет.

Поверили.

Сальма – так точно.

Шли в обычном темпе.

И одному Господу известно – чего мне это стоило.

А сбавить, передышку взять боле той, что вчера – нельзя.

Где это видано, чтоб старшина перед людьми раны-боль свои показывал?

Старшина – он завсегда впереди всех на лихом коне да с саблей-подружкой.

Что ни коня, ни сабли у меня давно нет, да и не люди спутницы мои – то дела не меняло.

Старшина он на то и старшина, что всегда первый. Что в войске, что в станице. На него остальные равняться должны, тянуться к нему, как тянется травинка к солнцу, как тянется душа праведная к Истинному.

Следующего дня шли мимо полей, уж время жатвы.

Не удержался.

Остановился.

Трудом людей честных залюбовался.

Поют.

И не нужно слов их знать, язык фряжий понимать – поют они о том, же о чём везде люди поют. Истинного благодарят, землю, край родной восхваляют, надежды свои в голоса вкладывают.

Спины гнут, как гнут их во всех станицах края родного, урожай собирая.

Как гнул и я когда-то.

Вздохнул.

На ладони свои посмотрел.

Медвежьи лапищи, саблю да весло галеры помнящие, вспомнят ли они труд простой, али совсем позабыли?

- Какой ужас.

- Ты просто пока ещё не поняла: какое это счастье увидеть закрома полные зерна, напечь из них хлебов, разломить те хлеба с родными тебе людьми, увидеть улыбки на их лицах. – покачал я головой.

- Но…

- Какой кулеш вкуснее, - не дал договорить я Сальме, - тот, который я готовил, или тот, что вы с сестрой теперь делаете?

- Твой.

Вздохнул.

Права она.

Не подумавши я что-то это сказал.

- Это потому что ты опять соли много сыпанула. Говорил же: щепоть малую, а ты…

- Нет это потому что Мотря тоже щепоть кинула. Она мне только что призналась.

Мой недогляд.

- Но ведь когда в следующий раз всё верно выйдет ты ж, оглянувшись на неудачу свою, улыбнёшься? Приятно ж тебе будет знать, что ты лучше, умнее стала, чем вчера была?

- Не знаю… наверное… странно это как-то…

- Странно это то, что я таким взрослым девицам, как ты с сестрой, вещи объясняю, в станице даже детям понятные.

- Только не очень у тебя что-то выходит…

- Может высечь тебя, чтоб дошло?

- Не высечешь. Я уже поняла – просто слова ты меня сечь не будешь.

- Так уверена в этом? – поднял я бровь.

- Да. – уверенности в её голосе поубыло.

- Поглядим. – пообещал я, и продолжил путь.

- Ты ведь пошутил? Ведь пошутил?

- Поглядим. – с улыбкой повторил я.

Вечерний кулеш вышел на славу.

Улыбались нимфы, собой гордые.

Вздохнул.

Есть вещи, что словами трудно объяснить. Самому их понять куда проще.

Встретились нам поля несжатые.

И зерно вызрело, и у соседей жатва уж к концу подходит, а тут не сжат ни единый колос.

По всему видно – беда какая-то приключилась.

Имя беды той было – лев.

Лев – зверь нечистый, в Писании не раз помянутый – ему наших святых бросали на съедение, служил он панам старым, божкам поганым поклонявшимся.

Появился зверь этот перед жатвой самой, да стоит кому начать колосья начать резать, как выбегал он и съедал того несчастца.

Люди подмогу у местного пана запросили, да когда она ещё будет, а пшеницу жать сейчас надобно, перестоит, всё зерно в землю осыплется.

Ещё говорили: нынче везде нечисть лютует. Нимфы парубков сманивают, сатиры поля топчут, олени, лошади да кабаны на людей нападать стали, да и иных страхов хватает, в которые и поверить трудно.

Поглядел я на спутниц своих:

- Знаете в чём дело? С чего такое приключилось? Вроде к край спокойный был. Сколько по нему прошёл, а что б такое – ни разу не было.

Знали.

Да я и сам догадаться мог, без их объяснений.

Божки их поганые, ведь от мира собрались укрыться, вот и решила нечисть напоследок гульнуть, жизнь людям попортить.

Подумал я немного.

Со львом, пожалуй, справиться должен – это, по рассказам знающих, тот же волк, только побольше чуть, да с гривой, но не как у коня гривой, а побольше.

Что я с волком совладаю?

Рогатина при мне.

Как раз для таких зверей и надобна она мне.

О цене сговорились с попом да пошли следы смотреть.

Пожалуй, побольше волка зверь этот лев.

Сильно больше.

С быка, пожалуй.

- Это лев из свиты Артемиды.

- Точно. – подтвердила Мотря. – Злючий. Шкура толстенная. Его брата младшего Промах только и смог одолеть тем, что задушил.

- Задушил… - хмыкнул я, бороду почесал, - поглядим… рогатина меня ещё ни разу не подводила, даст Бог и в это раз выручит…

Фряги не дурные – сразу попрятались, как узнали, что со львом я биться стану.

Нимф с трудом удалось отогнать подальше: хотели они всё в подробностях увидеть, чтоб было что потом вспомнить.

Глупые совсем.

Лев – это им не пьяные сатиры.

Зверь это, с ним не договоришься.

А ну как пойдёт у меня не так как задумано: поест он и меня, и кулём этих.

- Господь мой, не помяни грехов моих, и укрепи меня свыше силою Твоею. Даруй мне бодр ум и сердце бестрепетно. Во имя Твоё, гряду, да будет воля Твоя. – помолился и, наклонившись, срезал первые колосья.

Прислушался, принюхался.

Тихо всё.

Срезал ещё.

Так и стал жать, помаленьку, потихоньку.

С отвычки выходило это у меня не складно, но ничего – вспомнили руки дело старое.

Улыбнулся я: помнят руки.

Помнят.

Только радость моя тихая недолгой была.

Явился лев.

Не заставил себя долго ждать.

Могуч.

Огромен.

Под шкурой, металлом отливающей, мышцы бугрятся, перекатываются.

Клыки – сабли вострые, когти – кинжалы булатные.

Кругом обходил, приглядывается.

Зрачками своими жёлтыми поедом ест, языком шершавым облизывается.

Гляжу на него, аж пот-испарина выступила.

Отёр десницу о штанину.

Отёр и шуйцу.

Рогатину опустил, концом в землю упёр, атаки ожидая.

Не нападает зверь нечистый.

Из стороны в сторону ходит, да приглядывается.

Гляжу и я на него, поглядываю.

А ну как не сдюжу зверюгу?

Мне-то что? В краю родной давно уж обо мне должно быть все слезы отплаканы да помины справлены. А нимфы?

Совсем дурной я с ними сделался.

Чего не погнал?

Чего позволил рядом остаться?

Что ж это я творю такое?

Кто ж дивчин на битву тащит-то?

Рыкнул зверь да пошёл на меня.

В два прыжка расстояние меж нами преодолел, на рогатину грудью налетая.

Совсем чуть остриё в тело вошло. Треснуло древко, напора звериного не выдержав.

Едва успел от пасти, от когтей его страшных ускользнуть, под брюхо нырнув.

Извернулся зверь, лапой ударил.

Не размер его дикий, скорость пожирающий, заставляющий с собственным весом бороться, что тащит вперёд, когда бить надо уже в бок и назад, приложил бы он меня.

Земля под лапами его проминается.

На камнях, на дороге совсем иначе было б, а тут и землица мне подмогой: не держит она нечисть эту, выскальзывает, мешает рывок сделать, ударить в силу полную.

Ревёт рыком, беснуется.

Пастью клацает, будто молотом кто по наковальне колотил с силой немалой.

Яростью своей дикой сломать меня, как рогатину, норовит.

Ярость – она кому в подмогу, а кому глаза закрывает, мир видеть мешает.

Пропустил зверь, как я ему на спину запрыгнул, шею его обхватил да сжимать стал.

Повалился назем, раздавить меня пытается, а я лишь сильнее горло его сжимаю.

Успокоился, угомонился.

А там и помер в объятиях моих медвежьих.

Поднялся я, бегут ко мне нимфы.

Смеются.

Лепечут что-то.

Чую – улыбаюсь и я отчего-то.

Совсем дурной сделался с ними.

Высечь бы меня, чтоб умней был в будущем, да некому.

Горячкой боя раны скрытые, болью в теле отозвались.

На ушибы старые, сатирами причинённые, новые легли, такие же тяжёлые.

Плечо левое порвано, как тряпками белыми, людьми принесёнными, не бинтуй, всё кровь выступает, норовит в землю уйти с силой остатками.

Только шёпотками и спасся.

Много из меня крови вытекло, но силы встать нашлись.

А где силы встать есть, так и для одного шага силы найдутся.

Один шаг – начало дороги.

Так и пошли мы.

Тихо, не быстро, на встречу набегающей ночи.

Ночью в жар меня бросило.

С трудом великим поднялся, но спутниц не побудил.

К реке поплёлся, молитву читая.

Силён был лев.

Когти остры.

Сила великая.

Страшный зверь.

Нечистый.

Спасибо, Господи, уберёг, сил дал, руку направил, не сдюжил бы я без подмоги той.

В ручеёк, что рядом тёк опустился, позволив воде огонь из тела своего вытянуть.

Силён лев.

Рогатины мне стоит.

Тело-то что – кости целы, мясо само нарастёт рано али поздно, а рогатину не воротишь.

И силы не нашлось остриё вытащить.

Так и осталось оно в туше мёртвой.

В город теперь иди надобно, новую покупать. Без рогатины никак. Совсем никак, как без мяса.

Неможно. Никак.

В раз этот может иначе всё случится?

Со мной ведь нимфы, они по фряжьи говорят.

Хорошо бы…

Воды журчание облегченье принесло и в сон я погрузился.

Пусть и бил больно шлях в ноги, отзываясь во всём теле натруженном, а всё ж повёл нас вперёд, через мару жаром головы моей рождённую.

Люди добрые, жатвой занятые, сторону указали, в которой город был, туда мы и пошли.

Привёл нас шлях не к городу, из камня строенному, а к дереву, на распутье стоящему.

На ветке одной, что отдельно других росла, человек висел.

В петле.

Бос.

В портках одним замызганных.

Голова его опущена, да лица не разглядеть, жар вновь разыгрался, зрения лишая, без боли на свет белый смотреть запрещая.

Усы длины ветер качает, запах знакомый принося.

- Погляди ты, Сальма, если шрам у на щеке левой, если и другой, что крестом грудь пересекает, и третий от стрелы на руке, и пятый да с шестым на другой руке. – негромко попросил я.

Услышал я ответ.

И внутри всё перевернулось.

Остап Захарыч.

Атаман.

Не плачь горестный, рык яростью кролочущий, из груди моей пошёл.

К земле потянуло меня, в плечах раздаваться стал, шерсть бурая, грубая покрывать руки- плечи начала.

Остап Захарыч, не уберег я тебя, атаман.

Поздно слишком с подмогой подошёл.

Осталось войско да без атамана, как дети без отца, да в земле чужой.

Больно ударило меня то.

В той малый кусок души, что не очерствел, не умер покуда.

Да всё же поднялся, не став на четвереньки, зверю став подобным.

Остап Захарыч не здесь ты свой конец нашёл.

Я сам тебя в могилу опускал, речь перед людьми держал.

Мара всё это, наваждение бесовское.

Руку тяну, ища, не глазами, застланными мороком, нюхом, нутром.

Нахожу.

Пропадает дорога, дерево.

Лежу я в всё ж ручье том же, рукой своей горло тонкое, девичье сжимаю.

- Дура ты, нечисть мелкая. Меня ль, характерника, бесовским наваждением своим злым сломить хотела? – вздохнул я устало. – Господа нашего, Истинного, благодари, что учён я людьми поумней иных, иначе б беды не сбежать тебе.

И поднёс её лицо в своему, чтоб могла она взглянуть в мои глаза, увидеть, кого глупостью своей едва не пробудила.

Завизжала нечисть, забилась.

Да разве хватит у неё сил из хватки моей вырваться?

Смолк крик-визг её, обмякло тело, только тогда, оттолкнув его в сторону, вставать начал.

На бок перевалился, рукой помогая подняться себе.

Нимфы мои тут как тут уж.

Побудили их крики.

Нечисть, кто кошмаром меня мучить вздумала, Мелиноя звалась.

Тоже из подружек их оказалась, нимфа.

Её старшая, Майа, послала, не стерпела, видно, позора, мной в капище поганом причинённого.

- И что теперь с ней делать будешь? – поинтересовалась Мотря судьбой подружки.

- Сечь? – тут же предложила Сальма.

Покачал головой.

Сечь это когда что-то объяснить нужно.

Тут уже ничего объяснять не нужно.

Вон седина в волосах струится уже.

Когда очнётся Мелиноя эта, как ковыль будет, десятой дорогой обходить меня станет, иным тоже заповедует.

Молча шли.

Молчанье то ран больнее было.

Силы тянуло.

Встряхнул я тогда головой, да песню запел.

Ты, дивчина, выходи,

Да на улицу гляди.

Я на конику сижу,

Да на тебя гляжу.

Эх, ты, краса-дивчина,

Золотая моя ручка!

Ты не бойся, подойди,

Да на коника гляди!

У меня коник – огонь,

Только ты его не тронь.

Он копытом бьет,

Тебя, дуру, не везет.

Ты садись ко мне скорей,

Да держись меня сильней.

Донесу тебя до хаты,

Будешь ты моей девчатой!

А за ней ещё одну, веселей прежней.

Оттаяла нимфы мои, подпевать стали, там, где слов запомнили, а где нет – голосами звуки разные тянули, славно то у них получалось.

После того, как сменили повязки мои, кулеша наготовили, поели, ко сну готовиться стали, Сальма мне говорит:

- Ты от нас не отходи, особенно к ручьям, к прудам и рекам. Майя злопамятна, может ещё что удумать, а если мы рядом будем – так заранее тебя предупредим.

- Ой ли… одна она можно подумать? – не сдержал я улыбки. – А как же та история твоя, где дочь царя, хвасталась, что её волосы красивее, чем у Геры вашей, так та взяла и превратила её волосы в змей? Или та, где охотник, случайно увидел Артемиду вашу купающейся. Он ведь не подглядывал – он заблудился в лесу и вышел к ручью, а та превратила его в оленя, и собственные собаки растерзали того.

- Это… это… ты не прав…

- Отчего же? Хочешь сказать у божков ваших поганых право есть творить, а остальным только и остаётся, что сносить это и прятаться?

- Ты не понимаешь…

- Понимаю я, получше, чем можно представить: паны, что на край мой родной руку свою наложить пытаются пострашней твоих Кронов, с Герами, Зевсами творят, а они ведь не божки поганые, люди, в Истинного веруют, в церкви ходят. Только ведь от веку всё краше край мой, всё больше в нём станиц да хуторов, а причина тому проста – мы, люди вольные, не сдаёмся, не покоряемся, сами судьбу свою вершим.

Помолчала Сальма и попросила:

- Возьми ты меня в свой край, край вольных людей…

- А как же подвиги? Как же сёстры-подружки, как же хвастовство, что с героем подвиги совершала?

- Ну их, не хочу…

- И меня возьми… - это Мотря.

- Девица – не водица: не знаешь, куда повернёт. – вздохнул я, да согласился.

Большой беды с того случить не должно.

У нас в станицах ведь – что ни баба, если ни с чёртом знается, так точно ведьма.

То же распутье.

Дерево то же.

И ветка та же, отдельно от других растущая.

Как во сне минувшем.

Постоял, поглядел.

Молитву краткую прочитал, чтоб наши, вольные, кто жив ещё дорогу домой отыскал да в край родной воротился.

Там меж делом-дорогой, жатва закончилась и стали праздники кругом праздновать, а раны мои подживать.

Рогатиной разжился.

Без города даже.

Всё хлопотами нимф.

Они же языку местному учить меня взялись.

Не так мудрён язык фрягов оказался.

Только кто б раньше мне его учить помог?

То и дело…

Осталась пора празднеств за спиной, осень меж тем ближе стала, а за ней, глазом моргнуть не успеешь, как зима уже объятия свои раскроет.

Место скоро искать надо будет, где на постой можно стать, снега переждать.

Но то дело решаемое – кубышка монет полна, раздулась будто пан от важности, того гляди лопнет.

На кабана да на оленя, что на людей нападали, идти не стал – плечо не зажило, да и не трогали звери тех, кто в их леса не ходил, значит, если люди известную осторожность иметь будут – дождутся, когда паны местные чудищ тех изведут.

Только верно ведь старшие говорили: «Не хвались, что всё хорошо, - беда за углом стоит».

Так оно и у нас вышло.

Вошли мы в селение одно.

Двери открыты. Внутри – разбитая посуда. Опрокинуты столы. Сорваны занавески.

Скулит пёс, в угол жмётся.

Кошка с крыши ругается, лапку лижет.

Люд от мала до велика на улицу вышел. Избит весь. Исцарапан. Оглядывается, будто потерял что-то, а понять-поверить, что всё никак не может.

Флейты. Где-то далеко. Бубны.

Смех. Женский.

Плач. Женский.

- Менады.

- Кто? – переспросил я у Сальмы.

- Неистовые. Дионис наслал безумие на женщин этого селения.

- Обычно, менады рвут руками всех, не различая: сын ли это, муж, отец. – дополнила её сестра. – Эти живы остались – повезло им.

Никола-угодник… эдакий да ужас за удачи фряги считают. У нас на Ивана Купалы, когда нечисть особо лютовала тоже всякое, сказывают, бывало, но что б такое – да ни разу.

Меж тем люди стали к нам стягиваться.

Битые-рваные.

Говорят тихо.

Дети-старики плачут.

Просят.

И без пояснений, нимфами сказанных, мне всё ясно было: просят сыны, мужи да отцы за матерей-жён да дочерей.

Тянут люди за соломинку, мыслят: вытянет она их.

Было б чудо-юдо какое – попробовал бы людям помочь, да рогатиной-кулаком разума помутнение божками погаными не одолеть.

Тут только молитва поможет.

Истовая.

Пошёл к церкви, что в центре селения стояла.

Там поп местный, бородёнка жиденькая, как тут принято. Поколочен не меньше других.

Опустился на колени да стал в голос читать «Живый в помощи».

Скоро и иные ко мне присоединились.

Тоже читать молитвы стали, кто на фряжьем, кто на языке Писания.

Хоть и не принято в этом краю, как видел я, к Истинному на коленях обращаться, а всё ж опустились на колени и иные.

Поднялась над селением, как поднимается над землёй солнышко, молитва.

Женщины в селение стали возвращаться к рассвету ближе.

Тогда молитву я и окончил, поблагодарив Истинного за милосердие и заступничество.

Поднялся.

Члены затёкшие за ночь размял, разбудил нимф своих, что дремали невдалеке, да продолжили мы путь свой, нежданно прерванный.

- Надо было денег с них взять. – когда отошли мы прилично спохватилась Мотря.

- Может вернёмся? – поддержала её сестра.

Головой покачал.

Не поняли меня нимфы, говорят, мол, деньги – это хорошо, так зачем от них отказываться? Дали б мне в том селении сколько б не запросил.

«Что деньги важны» - тем спорить было б глупо, только не за всякое дело их брать надобно.

И решил я нимфам объяснить, как детям:

- Вот сгорела у станичника хата, вот пришёл ты с другими станичниками помочь ему новую строить. Надо за то гроши требовать?

Закивали нимфы.

- Нет, - покачала я головой, - то дело общее. Чем сильней и богаче станица твоя, тем и тебе в ней вольготней, свободней дышится. Помог ближнему – считай брату помог, а кто ж с родича да гроши требует?

Оказалось – требуют.

И привели нимфы примеров уйму, да так что и сказать им мне было нечего.

Только и осталось, что руками развести, признав: иначе тут, у фрягов, принято.

- А всё равно за деньгами возвращаться не буду, - призвать я признал правоту их, да всё равно при своём остался, - не пойдут впрок гроши с такого дела полученные.

После слов моих разговор неведомым мне образом пришёл к вопросу: зачем мне монеты, если трачу из них я толику малую?

Принялся я рассказывать, что это сейчас кубышка деньгой полна, а недавно пуста была, что идти нам до края моего родного незнамо сколько, и будет ли ещё возможность заработать – то ещё не известно.

И надо б было мне на том остановиться, ведь нимфы в общем-то кивали, соглашались со мной, так нет же в самом конце добавил, дурь молодецкую, не до конца из головы вышедшую, раз под язык попадает, мол, ну и в станицу тоже б не хотелось возвращаться без гроша за душой.

- Без денег тебе дома не будут рады? – сделала свой вывод Сальма.

- Не примут без денег? Да? – вывод её сестры был такой же. – Так может всё же вернёмся, деньги потребуем?

И смотрят так будто что-то понимают, будто нашли что-то родное, понятное им во мне.

У нимф-то, что не история, то надо детю что-то совершить, чтоб родитель его признал, вот ни разу такого в их историях я не слышал, чтоб кто кого любил запросто так. Не принято у них, видно, этого.

- Примут, отчего ж не принять?.. – почесал я бороду. – Только тоже понятие иметь надо. Вольный он на то и вольный, что свою гордость имеет, и не вернётся домой без гостинцев. Даже если тех гостинцев – сорванная рядом с домом травинка.

Задумались они, о чём-то спорить стали.

Не стал им мешать, тихо улыбнулся мысли: монета звонкая довеском будет к тому, что жив я, что историю войска нашего принёс с собой, что семена аранжев со мной да две нимфу из краёв дальних.

Хоть и глупы они, да не злые, и что греха таить – красивые.

От женихов отбоя у них не будет.

Оно может и хорошо, что нимфы, - будь они обычными девушками, наши, станичные, б их вмиг извели, а эти, быть может, и приживутся.

Так и шли мы ещё седмицу, а то и боле.

Когда припас выходил – новый в селениях брали, рыбой из реки не брезговали, всегда в достатке её могли нимфы нам добыть.

Сатиров раз один погоняли.

Пустяковым дело оказалось – решилось разговором всё в этот раз.

Ночами стало прохладней – купил нимфам плащи, чтоб не зябко им было.

Тихо радовался тому, что спутницы мои с недавних пор, мылися-купалися так, чтоб не видно мне их было.

Всё ж что-то поняли из того, что я им говорил.

Стыд – это хорошие чувство.

Людям потребное, особенно девицам.

Меж тем проблема одна так, что никак уже её игнорировать нельзя было.

Красивы нимфы, взгляды так к себе и притягивают.

Хоть углём их мажь или колоти, чтоб в синяках ходили.

- На рынок, пожалуй, один ходить буду, да и селения вообще. – наблюдая, как нимфы кулеш готовят, решил я.

- Это ещё почему?

- Проблем больно от вас много.

- От нас?.. да чтоб ты знал – тот идальго сам на нас заглядывался и не строили мы ему глазки… почти…

- Почти?

- Что я уже улыбнуться красивому парню не могу?

Вздохнул.

Конечно, может улыбаться и ручкой махать может, и мило беседовать может.

Где ж это видано, чтоб дивчина да не могла от сердца своего широкого, от настроения прекрасного да какому хлопцу улыбнуться?

И сестра её может.

Главное, чтоб не в месте, а то один поп от переизбытка чувств, такое увидевши в обморок грохнулся, прямо, прости Господи, в церкви.

Хотя у них и по отдельности не сильно слабей выходит.

И вроде ж всё делают, как уговорились: подарки не берут, отказываются, а кто слов не понимает, так для тех взгляд есть мой суровый, исподлобья, да взгляд тот только на мужиках простых и работает, сразу холонут они, а против местных панов, кабальеро, идальго, зовущихся, уж взгляда одного не хватает.

Улыбнулась Сальма недавно одному панскому сыночку, что на свадьбу спешил… свадьба, ясно дело, сорвалась, и вышла через это история на столько глупая, что

вряд ли кому отважусь её когда рассказать… ну хоть никто не помер и то ладно…

Хмыкнул, бороду огладил.

Что б там ни было – всё равно лучше, чем одному.

- Можешь улыбаться всем, кому хочешь.

- А я?

- И ты, Мотря. Вы обе можете улыбаться всем, кому хотите.

- И на рынок ходить?

- И на рынок ходить, - подтвердил я, - а там как, до станицы родной доберёмся, – сразу замуж выдам обеих, чтоб была красота ваша проблемой мужей своих законных, а не моей.

Возмущаться нимфы стали.

Не хотелось им замуж хоть и за вольного да простого станичника, им никак не меньше атамана подавай, а лучше героя прославленного.

А ещё задались вопросом – кто я им такой, чтоб замуж их выдавать?

Но ведь и правда, - кто я, человек, вольный, в Истинного верующий, этим двух нимфам, детям божков поганых?

Кто?..

Природа замирала, к зиме готовилась.

Уже и нам надо было где-то на постой оставаться, да места подходящего всё не находилось.

Потребен был дом где-то на отшибе, чтоб нимфы без особой нужды людям глаза не мозолили, в грех не вводили.

Где дом подходящий находился, так там хозяином мужчина был, что подходило нам, как корове седло.

Где была хозяйка, так она терпеть такое непотребство, как мужчина в окружении двух женщин у себя в стенах не собиралась.

Третьих вид мой бородатый пугал.

Были и четвертые, и пятые, и шестые.

Зарядили дожди.

От грязи нас спасали каменные дороги.

Поклон тому фрягу, который придумал такие дороги строить.

Ровные, чистые, а какая грязь и есть, так ту дождём смывает в канавы, что по бокам идут.

С дождями пришли холода, а они принесли болезнь, что когтями вцепилась в моих спутниц, лишая их сил.

Неспособный из-за дождя, скравшего все запахи, определить – в каком направлении ближайшее селение, далеко ли до него, я возблагодарил Истинного, когда из пелены дождя появился силуэт церкви, стоящей на холме.

К ней мы и пошли.

То, что я принял за церковь оказалось, заброшенным домом.

Панским.

И пан тот был затейник – высокие шпили устремлялись в небо, будто это и правда церковь, по фряжьему образцу строенная, только наверху заместо святых и символов Истинного твари всякие причудливые: в основном крылатые полуженщины-полуптицы, но не как наши сирины, алконосты, а страшные, чужие.

Недоброе место.

Бесовщиной пахнет, да выбора нет: убьют моих спутниц холод этот и дождь, а тут кто б не обитал, всё равно ж совладать с ним способ отыскаться должен.

Не оставит нас Истинный после всех благодатей нам посланных.

Крыша во многих местах прохудилась, но даже так внутри было теплее чем снаружи: стены хотя бы укрывали от ветра. Когда же мне удалось разжечь огонь в очаге, пустив на дрова остатки былой роскоши, стало совсем хорошо.

- Поставим вас на ноги за пару-тройку дней да продолжим путь. – усаживая ближе к огню ним, пообещал я им.

Себе же пообещал, что на постой встанем в следующем же селении, - даже если для этого придётся отдать всё, что удалось заработать.

Никакие монеты не стоят жизней моих спутниц.

Шёпотки, молитвы, что денно и ночно я повторял не приносили облегчения нимфам, и исходу третьего дня рука сжала горло, начала душить. Хватка её подлая знакома мне была.

И вонь бесовская отовсюду, да не кажет носа нечисть, боится, а выманить, выгнать никак нельзя, не хватает силы моей молитвы на то.

Ужель ошибся я?

Ужель надо было продолжить идти по шляху?

Добрались бы мы к селению, донёс бы я спутниц своих, не раз ведь побратимов на плечах своих из сечи вытаскивал…

Вышел наружу.

Дождь серой стеной.

Не почуять: далеко ли люди. Не разобрать даже: сейчас день или ночь.

Ждать дальше? А если не им не станет легче? Припаса осталось на день-другой. Что потом? Ни в доме, ни в округе ничего съестного я не нашёл.

Самому побежать, попробовать найти селение? Только что в это время с нимфами станется? Вдруг нечисть местная, поняв, что меня рядом нет, решит высунуться? Мои спутницы ведь не смогут за себя постоять…

Унести нимф отсюда? По холодному дождю, да неизвестно сколько идти…

С трудом сдержал рык. Захрустел дверной косяк под моей рукой. Остались глубокие следы костей на каменной стене.

Себя поборов, рык нутряной, животный, песней обратил.

Ой, да не вечер, да не вечер.

Ой, да мне малым-мало спалось.

Ой, да мне малым-мало спалось,

Ой, да во сне привиделось.

Ой, да во сне привиделось,

Будто конь мой вороной

Ой, да разыгрался, расплясался,

Ой, да подо мной, под молодом.

Ой, да налетели ветры злые

Ой, да с восточной стороны.

Ой, да сорвали черну шапку

Ой, да с моей буйной головы.

«Сомнение – грех. Веришь – слушай себя. Господь направит». – из-за пелены дождливой, из-за далей далёких, да времён ушедших, услышал я слова, что отец Иннокентий наказывал помнить, не забывать.

Вернулся да принялся из рогатины и того, что ещё в очаг не пошло волокуши мастерить.

Укрыть укрою нимф своих получше, а так Истинный не оставит нас, да доберёмся мы до людей.

Только дела моему завершение так и не суждено наступить: сквозь дождь прорвался стук копыт, коня ржание.

Всадник ворвался в дом, но тут же придержал коня.

Тот встал на дыбы.

Крик властный, хриплый, злой.

Высверк молнии.

Грома удар.

Вновь выкрики.

Злится всадник, рукой на нимф показывает.

Различаю я слово, которое успел выучить, «забрать».

- Решил у меня их забрать, погань? Посмотрим, выйдет у тебя то али нет. – рыкнул я, так, что конь в сторону шарахнулся, и двинул на всадника.

- Стой, ты, стой… - прошептала Сальма.

Замер я, не дойдя до всадника, что коня своего успокаивал, рыком моим испуганного.

- Он на помощь пришёл… забрать нас хочет… дурное место это говорит…

Спаситель наш представился как дон Альвар Нуньес де Кабеса де Вака, но через пару дней, когда нимфы пошли на поправку, он позволил звать его просто – Альвар.

Он оказался владетелем земли, на которой стоял тот нечистый дом, в котором нам не посчастливилось остановиться.

Проезжий люд заметил огонь внутри, сообщил дону, чтоб тот мог разобраться.

Вот тот в ночи сел на коня и прискакал, а я его боем бить собирался…

Хоть и был Альвар вроде как паном местным, жил он небогато, и дом его размером мало отличался от домов людей, живших рядом, да плату за постой брать отказался.

- Оставьте это тому, кому это нужнее, чем мне. – перевела Сальма его слова.

Без помощи нимф понять о чём он говорит было решительно невозможно: Альвар говорил неправильно, вывернуто, пересыпанная словами другого языка, который Сальма назвала «высокое наречие».

Альвар никогда не говорил просто «да» или просто «нет», всегда изъясняясь как по писанному, будто не во дворе мы стоим, где куры зерно клюют с земли, а на приме у самого царя.

Своего пана люди уважали и немного побаивались, поэтому, когда нимфы набрались достаточно сил, чтобы выходить из дому, поглядывать-поглядывали

да близко не подходили.

Тогда же, увидев, как гуляют по двору нимфы, решил я в место то нечистое заглянуть да пожечь его.

Альвар узнав о том рассказал, что пробовал и он, и местные, да дождь, что в тех местах идёт постоянно, любой огонь тушит. Икзорциста (попа специального, что по нечисти всякой специалистом у них тут) даже просили помочь, только и он не справился. Как стоял тот дом, людей заманивая, так и стоит.

Что ни год находят там мертвецов, а ничего не поделаешь.

Поняв, что отговорить меня не получится, предложил мне Альвар хотя бы оружие у него взять.

Арсенал – знатный, видно, повоевал в своё время его хозяин.

Да то и без арсенала ясно было: рука одна по локоть отсутствует, глаза нет одного, шрам с краями рваными через глаз тот тянется.

Нашлась сабля для меня.

Не наша, но я такие уже видел.

Полегче наших, изогнута сильнее и полегче, но всё ж – сабля.

С благодарностью поклонился ему, в церкви воды освященной взял да пошёл к дому тому нечистому.

Набежали тучи.

Начался дождь.

Дождь стал ливнем.

С громом, молниями.

Иначе сложись всё, прошёл бы мимо дома, не вернулся бы, но не после того, как он убить Сальму и Мотрю пытался.

Нельзя такое спускать.

Дом, понял, нутром свои гнилым почуял, зачем я вернулся.

Заскрипел.

Чудища на крыше его перемигиваться-перекрикиваться стали.

Вошёл я, молитву читать начал, кропить углы водой, освящённой.

Тут уж вой до небес поднялся. Заступали ставни, заплясали тени и поперла на меня со всех углов нечисть, до селе прятавшаяся.

Злая.

Совсем безголовая.

Рубал я её, молитвы читая, да дом продолжая кропить.

А там подпалил – запылало всё, и никакой дождь помехой уж не был.

Славно горело-потрескивало.

Как дом рушиться начал, так дождь прекратился, и луна на небе появилась.

Улыбнулся, саблю травой отёр.

Спокойней как-то стало.

Может от того, что раньше я всё больше ради грошей работал, людей чужих, а тут – ради Сальмы и Мотри?..

Может…

Только и правда: кто же я им?..

Альвар кивнул, приветствуя меня.

Кивнул в ответ.

Протянул ему саблю, возвращая.

Альвар покачал головой – оставь себе.

Ответил поклоном.

Жестом пригласил следовать за ним.

Пошёл.

По дороге заглянули на кухню. Взяли бутылку и чарки.

Сели у стены, под древом, что стояло уже почти голое.

Альвар открыл бутылку, плеснул жидкость мне в чарку, плеснул себе.

Жидкость в чарке оказалась прозрачная, не вино значит, которое тут пили во всех видах и по любому поводу.

Нюхнул. Не пшеница. Не рожь. Что-то другое. Виноград?

Чокнулись да опрокинул я в себя содержимое чарки.

Обожгло. Сильно. С отвычки слезы чуть из глаз брызнули.

Не самогон наш, станичный, но сто крат лучше всего, что отведать мне в этом краю довелось.

Альвар показывает: повторим?

Киваю.

Отчего ж ещё не выпить, если хороший человек предлагает?

Жидкость, что мы пили называлась «граппа», и бабка, заставшая нас за эти делом, тут же начала ругаться.

Скудное знание языка фрягов мне не пригодилось: все женщины на всём белом свете говорят одно и тоже, когда застают мужчин, пьющих самогон, когда ещё даже полдень не наступил.

На ругань пришли нимфы.

Граппа им тоже не понравилась.

Барбаром опять меня стали называть, объяснять принялись, что даже вино лучше пить разбавленным, а к граппе так вообще прикасаться не стоит.

Яд это.

Фу.

Невкусно.

Граппой даже сатиры брезгуют.

Фу.

Посмеялись мы над ними от души.

Над всеми ними, и над нимфами, и над старушкой этой, бабкой Чеккой.

Ничего они, бабы-девки, не понимали.

Граппа – это не про пить, а про узнать того, кто рядом.

Узнать не словами, иначе, вернее.

- Le comari. – сказал Альвар.

- Бабы. – согласился я с ним.

За это и выпили.

Дабы Лень, мать грехов многих, как не единожды говорено и батей моим и отцом Иннокентием, в душу не забралась, определил я спутниц своих к бабке Чекке, чтоб по хозяйству помогали, да уму-разуму набирались, а кто где ж это видано: дивчины только кулеш готовить и умеют? Тут уж никакая красота, уловки их хитрые не спасут, - кому в станице жена безрукая нужна?

Бабка, получив помощниц, взяла их в оборот.

Любо-дорого глядеть.

Только и слышна ругань её стала. Не понятно о чём в этот раз, зато сразу ясно – не то и не так Сальма или Мотря сделали.

Плакали они, конечно, часто.

Куда без этого?

Успокаивал, объяснял, мол, если не передумали со мной в край людей вольных идти, то лучше тут пусть учатся, шишки себе набивают, а то наши-то кумушки куда как ехидней бабки Чекки: один раз что не так сотворишь ещё внукам твоим пересказывать будут.

- Не такой уж и вольный у тебя край выходит… - утирая слёзы, упрекнула меня Сальма.

- Ты не путай вседозволенность и волю.

- А разницы в чём?

Вздохнул.

Трудно слова подобрать для того, что с молоком матери впитал, что ветер степной да ковыль с детства шептали.

Вздохнул ещё раз.

Трудно да надо.

- Воля – это когда ты сам себе хозяин. Живешь по совести и обычаю, а не по чьей-то указке. На то силы потребны немалые: отвечать за себя, за семью свою, за станицу. Вседозволенность – это когда «хочу» выше «должен». Не свобода, а потакание всему дурному, что в любом человеке живёт. Вседозволенность – путь верный к огню пекельному, предательству всего хорошего, что в человека вложили Истинный да Хлопец Вольный. – замолчал, слова выбирая, что мысль закончить. – Воля – она для людей, для неё люди рождены, к ней всю жизнь свою стремятся. Вседозволенность – для скотов, что хуже бесов, для божков твоих поганых, во греху живущих, грехом своим гордящихся, друг другу истории грехов своих пересказывающих.

Посмотрела на меня Сальма.

Глаза красные, но слезки просохли уж.

- Получается – мы плохие, а ты – хороший? Так?

Вздохнул.

Сюда б отца Иннокентия или деда Свирида – вот те мастаки на такие темы говорить.

- Нет, не так. Это не про это…

- А про что же тогда?..

Вздохнуть думал, да отчего-то улыбнулся.

Всё ж верно говорят «сытый голодно не разумеет».

Жил я в станице, в войске с побратимами шёл.. и думать не мог, как трудно, невозможно жить без простого разговора, без возможности в десятый, в сотый раз говорить одно и тоже, спорить, огорчаться, что мысль свою донести не можешь…

- Ну что ты улыбаешься? Ну глупая я, не понимаю, что тебе лень рассказать? – обижено протянула Сальма. – Что убудет с тебя?

- Не глупая ты. Другая. Как эта земля. Как край этот. Как фряги. Другие вы. Истории у вас другие, песни, язык, нечисть, даже в Истинного верят тут иначе как-то. Всё тут другое. Не знаю я, как донести тебе всю ширь бесконечную степи, всю прелесть станиц наших и образ жизни людей вольных. Какие слова не подбираю – мало их, не те они. Разве что песнями, разве что сказами, мудростью народной, из поколенья в поколенье передаваемой…

Улыбнулась Сальма, взгляд потупила, косу огладила.

Совсем похожей на дивчин станичных сделалась.

- Так ты спой, спой, а я… я подпою…

Над краем, чужим, над краем фряжьим, в сумерках осенний, густых, сырых потекла песня вольная, в два голоса спетая.

За станицей, за рекой

Шёл парень молодой,

Камыш-травушку рвал,

Ой, и тёплый воды нагревал.

Тёплый воды нагревал,

Свои раны промывал.

Ой, вы, раны мои,

Ой, раны больные.

Ой, вы, раны мои,

Вы до сердца дошли,

Ох, сердце тронули.

Текли дни осенние в заботах малых, понятных.

Что смог, то в хозяйстве наладил, а то хоть и не прибывало оно в запустенье, да в руке хозяйской нуждалось: всё ж Альвар хоть и был человек хороший, да из панов и время своё употреблял в основном на книг чтение, коих оказался у него целых шкаф, чего я у профессоров в бурсе не видал даже, и тренировки.

В тренировках этих присоединяться к нему стал я.

Чужое перенять, своим сделать, науку новую в край родной, как семена аранжей, принести, то дело нужное.

Вечерами, что всё раньше наступали, в огне свечей песни пел. Сальма подпевала. На свой манер, иначе, чем принято у нас, песню вела.

Голос её звучал, мягче, округлее, с какой-то чудной вибрацией.

Признаться я должен – нравилось мне, как она пела.

Не только песни пел, да сказы ещё сказывал.

Альвар тоже слушал – Мотря ему переводила, да иных чаще просила рассказать о том, как Остап сгоряча поклялся, что посватается к первой, кто в окно стукнет, да стукнула к нему невеста с того света – утопленница. Остап, наш был, вольный, а вольный коли слово дал, то сдержит. Обвенчался с нечистью, а она, чудом Господним, ему живой красавицей обернулась. Так и жили они потом счастливо, в церковь в день воскресный ходили, детишек плодили.

Альвар в долгу не оставался.

Тоже истории рассказывал, и тут уж Сальма переводчицей мне служила.

Истории не о божках поганых, о людях земли этой.

О кабальеро Родриго Диас де Вивар, что был хитрым, расчётливым и мстительным, а ещё он был горды, несгибаемым, верным слову, а когда он умер, его жена Химена села на коня рядом с его телом. И врагу подумали, что он жив. Убоялись поражения и отступили.

О клинках, что руку Сида Кампеадора помнили. Один звался – Колада, второй – Тисона. Тисону отдал Сид в приданое за дочерь. И тот зять предал его. Надругался над дочерью. Бросил их в лесу. И тогда Сид потребовал клинок обратно. И дал Тисону своему племяннику. И вышел племянник на поединок. И сдался зять-мерзацев, увидев Тисону в руке его, сдался сразу. Не от раны. От

страха. Потому что Тисона – не просто меч. Это – память. Это – честь. Это – рука Сида, которая даже после смерти держит клинок и дарует победу тому, кому он служит.

Я всегда кивал, когда Сальма мне их пересказывала.

В тех историях пусть было много страданий и боли, но там также было и то, что дорого каждому вольному: там были честь и верность.

А вот истории о любви Альвар совсем не умел выбирать: сплошь у него грусть-печаль в конце и тоска без просвета. Мотря плачет, Сальма слезу утирает.

Особливо упомянуть стоит о том, что у Мотри талант к готовке обнаружился, да такой, что после того как приход нового года справили, часто замечать я стал соседок, что на кухню заглядывали, секреты мастерства выспрашивали.

Глядеть, глядели, вопросы задавали, да главного углядеть те соседки не могли.

А вот бабке Чекка углядела, ведь не глазами подслеповатыми глядела, сердцем.

Муку на не взвешивала на весах она – бросала горстью, как гадают.

Воды не мерила – так лила, и тесто она месила не спеша.

И пальцы двигались, как будто гладили не тесто – плечо. И всякий раз, когда огонь в очаге вспыхивал сильней, на него с улыбкой глаза её смотрели.

Прислушалась они и оглянулась: не идёт ли кто.

Улыбнулась мысли.

А только звук шагов знакомых услышав, вздыхала так, что колыхался пламень.

- Beata lei. – улыбалась бабка.

Улыбался и я в ответ ей, ведь тоже видел, кто причиной был тех вздохов, тех перемен.

Подождал я совсем немного.

Седмицы две, а может три: убедился в том, кто причиной перемен да вздохов был.

Трата дней, я знаю, ведь причина в доме лишь одна.

Альвар.

- Prendi su la bottiglia. – на граппу я ему кивнул.

Альвар всё понял: взял и бутыль, и чарки.

Выпили мы с ним.

И помолчали.

Выпили ещё.

Легка кубышка монетами полна.

Заговорил Альвар:

- Don Gregorio. Yo, don Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, caballero hidalgo, tengo a bien tomar por esposa a vuestra pupila Mótria. Y le doy en arras cien ducados, que es lo que mi hacienda permite. Y a la hermana, Salma, la tomo por mi cuenta y cargo, como curador, para guardarla y ampararla como si fuera de mi sangre.

Вздохнул.

Ни слова не понятно.

Альвар опять на наречие своё высокое перешёл.

Но к чему слова?

И без них обоим нам всё ясно.

Меня, считая опекуном, руки он Мотри просит, говорит, что Сальму тоже не обидит.

Выпили ещё.

И следом.

И ещё.

Затем за одной ещё бутылкой мы сходили.

Затем за третьей.

Там сдался Альвар, уснул, счастливый.

Во двор я вышел, ночью подышать.

В голову хмель шумит.

Радоваться бы: рожденье семьи новой застал.

Достоин Альвар счастья. Крепок. Умел в обращении с клинком. Что пан – то ладно, кто без греха?

Достойна и Мотря. Изменилась нимфа-перевертень. За срок краткий совсем ведь другой стала. Готовит так, что впору мне в дороге предстоящей вспоминать готовку ту.

Да и Сальме лучше остаться будет тут. Не даст в обиду её Альвар, а там и мужа сыщет.

Что ей края мой вольный да станицы?

Дурь глупая, девичья.

Мало ли у неё такой в голове было?

Парубков да хлопцев в селениях сманивала.

Меня боем бить хотела.

Обмануть меня же пробовала.

Спрятать от сестёр-подруг следы моим уроков грубых.

Приключений с героем жаждала.

Край людей вольных увидеть захотела.

Должно и забыла вовсе за зиму о том.

А и не забыла, так забудет.

Кто и я им?..

Им?..

Нет, не им, Мотря уже, считай, мужняя.

Кто я Сальме?..

Кто?...

Вопрос звучал уже не раз, да ответ всё мной не найден.

Снежинки падают на лицо, прекращаются в капли воды, стекают вниз, а в ночи до того безмолвной звучит песня.

Не для меня придет весна,

Не для меня птицы запоют,

И сердце девичье забьется

С восторгом чувств не для меня.

Не для меня цветут сады,

В долине роща зацветает,

Там соловей весну встречает,

Он будет петь не для меня.

Не для меня куют коня,

И ветер гривою играет,

Он бьет копытом и не знает

Его куют не для меня.

Со свадьбой решили не тянуть, до Великого поста справить, сразу как Мотрю в лоно Церкви Истинного примут. Чтоб было всё, как у людей заведено.

Передо мной же вопрос каверзный встал, которым я мог и раньше озаботиться, ведь ясно было как день летний к чему всё идёт.

Как на свадьбу да без подарка?

Не прост жених ведь – пан.

Не телят же да курей ему дарить?

Посуда? Упряжь?

Топор?

Я на себя немного даже осерчал.

Не то всё!

Подарок нужен, такой, чтоб память.

Господи прости, кто б сказал мне раньше – точно б плюнул.

На свадьбу пана и, считай, русалки, подарок выбрать не могу.

- Барбар, что грустишь-кручинишься? – если Мотря открыла в себе талант готовки, так Сальма открыла в себе талант неожиданно появляться и протягивать что-то пожевать.

В этот раз это оказалась горсть орехов.

- Думаю, что на свадьбу подарить.

- Придумал что-то?

Покачал головой.

- Тогда, быть может, выслушаешь моё предложение? – и не дожидаясь ответа продолжила. – Надо добыть яблок Гесперид.

- Яблок? Вроде того из-за которого война началась, где все погибли?

- Нет, это другие, - тут же выпалила она, но потом отводя взгляд добавила, - да, это те же яблоки, но там же не в яблоке было дело. А золотые яблоки Гесперид – их самой Гере на свадьбу подарили. Понимаешь?

Кивнул.

Понимаю.

То – дурь девичья.

Очередная.

Но подумать стоит.

- И, верно, трудно их достать будет? – предположил я вслух.

- И не говори… стережёт их дракон Ладон…

- Небось сильный он тот Ладон, раз его стеречь яблоки поставили?..

- И злючий – страсть.

- Думаешь – смогу я его рогатиной своей одолеть?

- Ладон бессмертный, с ним даже Промах биться побоялся…

- Это тот, который жену-детей своих убил?

- Да… но то было безумие Герой насланное, а так он ведь подвиги совершал…

- От этого жене-детям не легче… ладно, не о том речь… я что должен дракона одолеть, с которым ваш герой прославленный связываться побоялся? Так выходит?

- Не надо побеждать, ты его просто отвлеки, чтобы я яблоки украсть успела, а там сбежим мы…

Дурнее плана, признаться, я ещё не слышал, но кивнул согласно.

Повела меня Сальма тропами тайными, не для ног людских предназначенных.

Не зимы излёт в тех местах царил, весна летом почти обернувшаяся.

Дойдём до сада, поглядим на дракона, змея этого, стоглавого, подумаем.

Больно славно Сальма яблоки те расписывала.

Кто кусок от яблока того откусит – жизни сотню лет и здоровья крепкого получит.

Может ли быть славней подарок молодожёнам?

Да и чего душой кривить, косточки с тех яблок намерен я был с собой взять, в станицу родную принести, чтоб росли меж наших яблонь и золотые яблоки Гесперид, чтоб сильней и крепче станичники от них стали.

Не любила Сальма дракона.

Гадости о нём всякие рассказывала, да так увлеклась, что проговорилась.

- Это что ж выходит, ты с другими нимфами сад должна стеречь, а вместо этого с подружками те самые яблоки, что стеречь должны были, вы ели? – подловил я её.

- Что мы их там ели…

- Так ели или нет?

- Ели… вкусные они… очень…

- А как божки ваши поганые про то прознали, так прислали дракона этого, чтоб следить за вами?

- Прислали.

- А кто ещё, кроме вас пытался яблоки украсть?

- Да никто и не пытался… их же Ладон стережёт… страшный он, злючий, знаешь каких трудом стоило, чтобы одно яблочко у него стащить, а потом делили мы его на всех… не любит он нас, нимф, страсть как…

- С нимфами понятно, а как там с другими?

- Да я ж говорила – даже Промах с ним связывать не стал, Атлант ему помог яблоки добыть, но Атлант хозяин сада – ему можно…

Эк оно как…

Улыбнулся я, бороду огладил.

Где силой, где словом добрым, где хитростью, а вольный своё получит.

- Ты чего улыбаешься? Придумал чего? Ну чего ты? Ну расскажи.

От вопросов этих, от желания Сальмы, узнать, что ж я такого удумал, улыбка моя стала ещё шире:

- Сама увидишь…

- Злой ты, как… как Ладон… ну чего тебе стоит рассказать?.. Мне ж интересно…

- Увидишь…

- Злой ты…

- А ты – капризная. Знаешь, что в станицах с капризными дивчинами делают?

- Небось, лозиной секут?

- Лозиной секут, как сидорову козу. – подтвердил я.

- Не трудно было догадаться… она у тебя от всего помогает…

- Так ведь хорошее средство, проверенное… - пожал я плечами, да про себя задумался.

Крепко задумался.

Смог бы я вот прямо сейчас, как тогда у пруда взять и высечь Сальму?

Поднялась бы рука?

Как не думай, не крути, только то и выходит, что нет.

С приходом сумерек место нашли, у речки тихой.

Там на стоянку и встали.

Не кулеш в котелке забулькал, уха местная, чуппине, называющаяся.

Рыбка разная, раки, мидия, устрицы из реки по велению Сальмы, выпрыгнувшая, в воду кипящую полетели, чеснок щедро, помидоры мелкие, сушенные, травки разные.

А как это запахло…

Господи прости…

Не с котелка ели, с мисок.

Будто и не в походе мы, а дома.

Непривычно как-то.

Странно…

Приятно.

- Вкусно?

- Вкусно. – кивнул я и улыбнулся – всё ж не только Мотря науку кулинарную от бабки Чекки переняла.

- Расскажешь, что там удумал?

Улыбнулся я в ответ:

- Меня этими девичьими уловками не поймать: я давно уже не в том возрасте.

- Но ведь вкусно же?..

- Вкусно. – подтвердил я.

- Расскажешь?

И улыбается, голову склонив.

Горит медь волос в лучах заходящего солнца, огнём пылает.

Эх… достанется же кому-то жена – верёвки вить из муженька станет…

- Ну расскажи, не вредничай…

Вздохнул.

Рассказал.

Чего я из мелочи такой решил тайну военную сделать?

Совсем дурной стал что ли?

Сад, в который Сальма привела оказался таким, что была б на мне шапка – оземь грохнул, а слово перчёное сказал, не для девичьих ушей которое.

На славу расстарались божки поганые место это создавая, да так что с незнанки за сады Небесные принять их можно.

Господи, прости меня грешного за мысли такие.

Вдохнул воздух здешний.

Пахнущий нектаром, мёдом.

Деревья – высокие, как колонны, и лёгкие, как дым.

Листья их – серебристо-зелёные, и когда на них падает свет, они звенят. Не шумят, как положено листья, а звенят, как будто каждое дуновение ветра – это прикосновение к струне.

Между стволами их текут ручьи. Вода в них – не прозрачная. Она светится. Слабо, как луна сквозь облако.

Трава здесь мягкая, как шерсть. Будто и не по траве вовсе идёшь, а по шкуре диковинного зверя.

И на этом ковре чудесном – цветы. Каждый – на своём месте. Белые, золотые, пурпурные.

А в глубине сада – дерево.

Одно.

Оно не похоже на остальные.

Оно – центр.

Его ствол – золотой. Не покрытый золотом – сам золотой, как будто дерево выросло из металла. Его ветви изгибаются, медленно, как в танце. И на каждой ветви – яблоки. Золотые. Не блестящие – светящиеся. Каждое – как маленькое солнце.

И вокруг ствола – дракон.

Он не лежит у дерева.

Он обвился вокруг него, как плющ.

Сто глав его смотря во все стороны.

Нимфы.

Нагие бесстыдницы.

Смеясь, танцуя, отовсюду к нам стекаются.

Вздохнул.

- Боишься, что не сдюжишь столько задниц за раз высечь? – вышла вперёд Сальма и, обернувшись, спросила.

Вздохнул.

Разве в том дело?

Надо б было – высек.

Рухнул бы в конце без сил, а высек бы.

Только что с того?

Прибавит это ума этим дурёнам?

То и оно, что нет.

Порка она ума прибавить может, если объяснили тебе за что, а ты в придачу понял.

Бесы бы поняли за что, а эти.

Эти нет.

А значит порка моя – лишь слёзы лишние.

Не бегают же попы наши по ночам, не гоняют русалок, что у рек гуляют, а людям проповедают, чтоб береглись их, да если и гоняют русалок, так особливо глупых, что людям досаждают.

Сообразить бы мне то раньше…

Пока я в думы свои невесёлые погружён был, Сальма, там что-то подружка своим втолковывала.

Слов не слышно было.

Зато видно было прекрасно.

Это она как порол я её показывает.

Это как сестру её душил.

Это как в капище поганом бился.

…

И верно ведь всё показывает.

Было.

Это что ж выходит-то?

Таким меня земля местная запомнила?.. бородатым барбаром…

Повернулась ко мне Сальма.

Сияет, ручкой машет, зовёт, а нимфы быстро кто куда – шмыг-шмыг, будто мыши кота завидемши.

Пока дошёл, уж никого и нет.

- Я немного о тебе рассказала. – улыбается, довольна собой.

- Видел.

Грубей, чем думалось прозвучало, потому как улыбка тут же с лица её пропало, как солнышко за тучку зашло.

- Так хотел высечь чью-то задницу? Не печалься. Сейчас мы поймаем кого. Эгла, её. Она всегда надо мной издевалась. И высечешь ты её.

Пригляделся.

Шутит?

Правду говорит?

Не понять.

Не разобрать.

Ослеп я за эти годы, разучился видеть, что и дивчины за словами кроется.

- А не хватит если, так ещё кого поймаем. Эрифию, например. Знаешь, какие у меня счёты к здешним нимфам? Они ведь всегда важничали, - им яблоки золотые доверили стеречь, а я – нимфа источника.

Поклонился, речь её прерывая.

- Виноват я перед тобой, Сальма. Не в том, что сёк, а в том, что не разглядел я суть твою, бесовкой называл, как к бесовке относился. Прости за то ты меня грешного.

Взметнулся огонь волос.

Засияло солнце улыбки.

Простила.

Уже и забыла даже.

А если и помнила, то совсем чуть-чуть.

Но теперь точно забыла.

Честно-честно.

- Если хочешь, одну из местных мы всё ж можем поймать, и ты её высечешь. Исключительно в воспитательных целях.

- Пошли уж к дракону, заждались нас яблоки.

- Может всё же… ну хоть одну?..

- Пошли уж, пошли…

Вблизи дракон ещё больше, ещё могучей показался мне.

Не дурак, видно, всё ж Промах их, раз побоялся с ним связываться.

И как только Сальма мыслила-то, что я с эдакой чудо-юдой воевать буду?

Уставились головы её на нас глазами.

Одни – недобро. Эти – на Сальму.

Другое – с интересом. Эти – на меня.

Сальма сразу ж за меня спряталась.

Поклонился я, дракона приветствуя, с почтением, как должно:

- Пан Ладон, земля твоя широка, а слава твоя – ещё шире. Пришёл я издалека, чтобы увидеть это своими глазами. И вижу: не соврали люди. Силён ты и богат, так не откажи в просьбе малой человеку вольному – дозволь яблок золотых твоих взять.

Растянулась часть пастей в том, что я улыбкой счёл.

Часть там и продолжила недобро на Сальму глядеть.

- Дозволю, если в беседе не откажешь: скучно мне тут одному среди дур этих… - многоголосым эхом ответили головы.

Ответ тот заставил Сальму на задницу плюхнуться, я ж – устоял.

- Беседа – дело славное, только, пан Ладон, не мог бы ты говорить тише? Уж больно голос у тебя грозен.

Расхохотались все сто голов, как сто громов в небе одновременно ударили. Тут уж и я не выдержал, не упал, но присел, будто рукой дядьки Дюжего придавленный.

Туманом потёк вниз дракон, облик иной принимая.

Плечи – медвежьи.

Не руки – лапищи.

Попадёшь к такому в объятия – со светом белым распрощаешься.

Взгляд тяжёл, как слово над могилой атамана сказанное.

Борода…

Понял я, шутку пана Ладона.

Улыбнулся:

- Не тесновато, тебе пан в облике таком будет?

- А тебе, арктос?

- Привык уже.

Вновь расхохотался он.

Не как гром небесный. Как человек.

- Не откажешь, пан Ладон, стол с нами разделись? За столом беседа течёт плавней и легче.

Смех его вновь ответом мне был.

Подмигнул я Сальме, мол, рассчитываю на тебя: уж приготовь съестное так, чтоб не было перед паном стыдно.

Улыбнулась она.

Сальма готовкой занялась, а мы с паном под деревом расположившись, разговор продолжили.

Силён собеседник мой был, да силы той примененья ему не дали: поставили божки поганые его яблоки от нимф сторожить.

Сокол, у которого небо украли.

Скакун резвый, что в стойле заперт.

А как Сальма граппы бутыль принесла, который заставила нимф местных добыть, как выпили мы с ним, так лучше прежнего разговор пошёл у нас.

Рассказал я, как свет широк, что вышло время власти божков поганых, о станицах родных рассказал, о людях вольных.

Как пятую бутыль опорожнили мы, да под рыбку Сальмой приготовленной, да с травами, что, быть может, сам царь-батюшка в жизни не видывал, не слыхивал, так говорит мне Ладон, что «пана» ещё на первой бутыли отказался:

- Ты меня о малой малости попросил – не отказал я тебе, так не откажи и ты мне.

- Если то против веры моей да чести вольной не идёт – сделаю.

- Скажи ты всем, что убил дракона Ладона, позволь оставить пост опостылевший.

- Как есть. Не откажу. Все услышат – умер сегодня дракон о ста глав Ладон, - громогласно объявил, и тише добавил, - дракон-то умер, да на свет появился человек новый, Ладькой зовущийся. Ладька – это тот, кто с людьми ладит, у кого в жизни ладно всё.

- Славное имя, брат. Выпьем за него?

- Выпьем.

Следующего дня проснулись мы к полудню ближе, обнялись с Ладькой, прощаясь попросил я его, если окажется в краю людей вольных, так пусть там станицу мою отыщет, да расскажет, что с войском нашим стало, чтоб знали станичники, чтоб помнили.

На том и расстались.

Пошёл он в одну сторону – мы с Сальмой в другую.

Спутница моя произошедшим довольна была, рассказывала не умолкая, как нимф местных за граппой да все потребных для готовки гоняла, а те не смели ей отказать. С особым удовольствием Сальма рассказывала, как называла их «архаикос», считай «хуторянками», если по-нашему, говоря, что нагими уже давно никто не ходит, а ходит, как она. И как я понял, это нимф задело куда сильнее, чем необходимость прислуживать.

- Но всё ж высечь можно было… - мечтательно вздохнула она, - хотя бы Эглу…

- Даст повод – высеку.

- Повод?.. да ты чем слушал?.. я ж столько рассказывала… - а следом поток обид мелких, девичий, захлестнул меня, как волна.

Как в станицу вернулся.

Будто вновь у плетня стою да слушаю, разговор девичий.

- Я ему серьёзно, а он улыбается… всё не буду больше тебе ничего говорить, я обиделась.

На долго её не хватило.

Прошли мы немного, достала Сальма из сумки яблоко, золотое, светом изнутри лучащееся, откусила.

Глаза от наслаждения зажмурила.

- Попробуешь? – протягивает мне.

На боку яблока укус совсем маленький.

Не верится даже, что не ребёнок, а дивчина то кусала.

Куснул яблоко.

Не половина за раз, но к тому близко.

Вкусно яблоко оказалось, каким-то неведомым, ни с чем не сравнимым, но таким, что тут же захотелось ещё раз его укусить.

- Ну кто ж так кусает… - возмутилась Сальма, - на тебя никаких яблок не напасёшься…

- И не надо запасаться. Как ворочусь в станицу, будет у меня своя яблонька, на которой такие ж яблоки зреть станут.

- А со мной поделишься?

Споткнулся я на месте ровно.

Едва не упал.

Не было отродясь со мной такого.

- Поделюсь, коль в гости заглянешь…

Сам сказал и тут же во второй раз споткнулся.

Упасть не упал, но коленом одним земли коснулся.

… «в гости» - в край, который я и сам не знаю, где искать?

Глупость глупую сказал.

Не увидимся мы больше.

Только свадьбу сыграют – уйду я, а Сальма останется здесь, с сестрой. Альвар за ними обеими приглядит.

Протягивает она мне руку, помочь встать хочет.

Куда там такой тоненькой ручкой мне помогать?

Да всё равно аккуратненько взялся.

- Не хочу в гости… - только поднялся я Сальма мне сказала, - хочу с тобой жить. Спокойно с тобой.

«От дурная совсем не понимает, что языком молотит». – подумал я да собрался объяснить Сальме, что ж она такое сейчас сказала, да в третий раз споткнулся.

В этот раз упал.

Позор-позорище.

Выслушать мне пришлось, что пить меньше надо, а то надрался вчера как сатир последний, вот теперь ноги и не держат, и много чего ещё разного, мелкого, что одёжку мне б не мешало бы купить, а то из одёжки у меня только штаны верёвкой подпоясанные, и бороду хоть чуть облагородить, а то разбойник разбойником, и много чего уже, всего и не упомнишь.

А семечки из яблока того я собрал и к тем, что из аранжев добыл, положил.

Вернулись мы как раз к свадьбе.

Как те два дня пути обернулись неделями, то Сальма пояснить не могла.

Лишь плечами пожала, и тут же в оправдание рассказала, что, бывало, иной раз и годы пролетали, десятилетия. Сказала, да поняла, что тем самым ещё больше положение своё ухудшила, потому как выходило, что могли мы вернуться не в свадьбе, а уже к детям, что после свадьбы в положенный срок случаются, а то и ко внукам.

Поутру бабка Чекка принесла мне одёжду, в которой все местные ходили.

Вот оно что недавно Сальма там про одежду мою распиналась.

Готовила, значит.

Оделся.

Тесновата оказалась: у меня ж с кормёжки хорошей мясо на кости возвращаться стало.

Но ничего, авось, если глубоко не дышать, - швы, Бог даст, не разойдутся.

Увидел Сальму и Мотрю вместе.

Улыбнулся: красивы обе.

Правильной красотой красивы.

Одеты. Стройны. Косы – толстые. Взгляд – ясный. Смех – звонкий.

Гостей не много, да и не мало.

Сплошь военные – сразу их видно.

Взгляд другой, лица другие, пахнут иначе.

Поп местный положенное отговорил, да пошли все к столу.

Ели молча, и дюжины тостов не сказали, да и те на высоком наречии, так что ничего я не понял, кроме главного – рады друзья, что Альвар женился.

Подарки все дарили.

Подарили и мы свой.

Мотря, как увидела яблоки, так сильно обрадовалась.

Разделила она одно с мужем своим законным, остальные по-хозяйски припрятала.

В общем, торжественно всё – того не отнять, да всё ж скучно, о такой свадьбе и рассказать в общем нечего будет: ни плясок, ни драк.

Думал, хоть с дракой помочь.

Оглядел гостей.

Слабоваты, так может статься после свадьбы похороны справлять придётся.

Утром дня следующего собрались мы с Сальмой в путь.

Хоть и старался корни не пускать, а всё ж печаль одолела, когда прощались мы, понимая, что не свидимся больше.

Обнимались долго сёстры, да распались их объятия.

- Ếtēsas parà tôn theôn ándra, hós sós te ésoito kaì sỳ autoû, kaì mēdépote hymâs chōristhênai. Écheis autón. Âr' arkeî soi, adelphḗ? – улыбнулась Мотря.

- Theoì oudèn aítioi. Emòs gàr éstai, epeì autề autòn katergásomai. - ответила ей Сальма, и мне понравилось, как она это сказала.

- Eutýchei, adelphḗ.

- Kaì sý, adelphḗ.

И без перевода понятно – удачи и счастья друг дружке желали сёстры.

Прощание окончив, возобновили мы путь ко мне домой, в край людей вольных.

Одёжка, на свадьбу даденная, разошлась в нескольких местах по швам и перестала потрескивать.

Сабля бок греет.

Рогатина на плече лежит.

Котелок и узелок на той рогатине.

Монет кучка опять же.

Поглядел я на Сальму: высока, тонка, идёт рядом. Не идёт плывёт, как волна в родном лимане. Тихонько, мягонько.

- Увидел, что забавное? – только по вопросу своей спутницы понял, улыбаюсь опять.

Да что ж ты сделаешь?

Опять улыбаюсь.

Блаженный будто.

Где ж это видано, чтоб вольный да в мои года улыбался?

Да после всего, да в земле чужой.

Что ж это ты, старшина, такое творишь?

Дурной стал от жизни спокойной, сытной?

Аль покрасоваться перед дивчиной решил?

Того гляди гоголем ходить станешь.

Вот смеху-то будет.

Как в глаза дивчине смотреть будешь, коль поймёт, что творишь такое?

После всех слов твоих, после того как сёк…

- Жизни радуюсь. – душой покривив лишь малость малую, ответил я. – Солнцу тёплому. Ветру незлому. Шляху, что под ногами бежит. За сестру твою радуюсь, что жизнь людскую выбрала. Радуюсь тому, что Альвар жену нашёл.

- А тому, что я с тобой? Хоть немного радуешься?

Споткнулся.

Камень-подлец выше других из дороги вылез.

- Радуюсь. Отчего ж не радоваться? В компании завсегда веселей, чем одному.

Улыбнулась она тихо в ответ и песню затянула.

Люблю хлопца молодого,

Я хлопца, молодого.

Мой миленький в гусли гряя,

В гусли гряя, в гусли гряя.

Да мене, младу, забавляя,

Забавляя, утешая:

«Да ты будь, девочка, за мною,

Будь за мною, будь за мною,

За моей буйной головою,

Головою, головою,

Уж я девочке позволю,

Я позволю творить волю!

Когда ж я успел эту глупость старую напеть?

И надо ж запомнила…

Ужин славный Сальма нам в котелке сготовила, да такой, что ем я его и радостно, и спокойно становится.

И ведь не наша то еда, не вольных (да кто б её рецептам нашим тут у фрягов научил?), а вкусно – не оторваться. Того и гляди, если и дальше меня так кормить будет, в родной станице не признают, а как признают, так Пузаном кликать будут.

- А в этот раз чего смешного?

Рассказал я, как Пузаном меня кликать будут.

Смеяться Сальма начала. Звонко так, даже отчего-то обидно мне стало.

Отсмеялась Сальма и спрашивает:

- Так ты ещё и шутки шутить умеешь?

- Умею. – ответил я, чувствуя, что обида вроде как крепче стала.

- А чего ж раньше не шутил?

- Да как это так не шутил?

- Да так – не шутил. Всё больше ходил брови хмурил, а теперь хоть улыбаться начал.

Подумал малость.

Её правда – то признаться стоит, да признать то надобно так, чтоб не признать:

- Не улыбался, значит, повода не было, я ж не дурень станичный, чтоб без повода скалиться.

- А теперь, значит, есть?

- Значит есть… - почесав бороду, согласился.

- Вот и хорошо, что есть. – улыбнулась Сальма и пошла котелок оттирать.

Поначалу работы для меня в селениях особой и не было.

Сальма объяснила это тем, что местная нечисть зимой спит (наша тоже по больше мере спит зимой, но не о том разговор).

Так оно и оказалось: только солнышко припекать стало, а на полях появились всходы, так тут же появились сатиры, которым только дай эти всходы потоптать.

С козлоногими этими вредителями Сальма справлялась почти без моего участия – мне только и нужно было, что грозно брови хмурить, когда она рассказывала, что я и есть тот самый герой, что с самим Ладоном справился, яблоками золотыми завладел, льва голыми руками задушил. Имя моё, родителями данное, Сальма при этом коверкала на фряжий манер, но уж лучше пусть коверкает, чем я с сатирами каждый раз за поле драться буду: на них никакого так здоровья.

А ещё, похоже, новость о том, что нагими уже никто не ходит, средь нимф распространилась, словно пожар в степи, ведь именно что нагими бесстыдницы этим мне больше на глаза не попадались.

Мясо в еде… тут отдельно надо сказать…

Нет, оно не стало появляться в еде, тут другое… оно перестало из еды пропадать.

Мясо было всегда.

Во всех видах.

И сыр, и яйца.

Питался я так, как не каждый пан себе позволить себе, может, самому батюшке-царю вровень.

И если с царём-батюшкой лишку хватил я, то малость, а всё потому что Сальма дело с питанием наладила крепко: в какой селение не заглянем, пока я с попом местным о работе говорю да пытаюсь о крае родном вызнать, так она уже идёт с покупками, собой довольна и до привала ночного рассказывает-хвастается, как она там с кем торговалась.

Послушаешь её, так от дивчины станичной не сразу и отличишь.

Разве что посмотришь и сразу видно: не станичница Сальма. Потому как, не в обиду землячкам сказано будет, тоньше, гибче она, будто и не девушка вовсе, а стебель пшеницы с колосом или ковыль наш степной… прости Господи дурака дурного… что за сравнения глупые в голову лезут?

Какая пшеница? Какой ковыль?

Ива плакучая. Тонкая гибкая.

Поглядел на Сальму: взгляд мой заметила, улыбается.

Улыбнулся в ответ.

Поняв, вздохнул, нахмурился.

Что ж это творится такое?

Видно, достал я сатиров, надоело им, что гоняю их с полей, не даю труд людской губить, - пожаловались они на меня старшему своего, божку поганому, Донисом зовущемуся.

- Чтобы не произошло – молчи. – только то и успела Сальма сказать мне перед тем, как на лице её появилась заискивающая улыбка.

Она, эта улыбка мне не понравилась.

Как не понравился божок поганый, которому она была адресована.

Молодой. Гладкий. Безбородый.

В руке посох лёгкий, почти игрушечный, плющом да лозой виноградной обвитый, с шишкой сосновой на конце.

Сальма говорит, говорит, а он смотрит и улыбается.

На меня смотрит не на неё.

- Зачем детей моих обижаешь, что дурного они тебе сделали? – спросил он меня.

Голос его мне тоже не понравился.

Панский голос: не гнев, не обвинение, или угроза в нём, любопытство праздное, а под любопытством тем – и гнев, и обвинение, и угроза.

Сальма заслонить меня попыталась, говоря, говоря.

Положил я руку ей на плечо, да в сторону отодвинул.

- Плох родитель из тебя, раз чада твои поля людские разоряют, а ты им за то укорот не даёшь. – ответил я ему и, сняв с плеча рогатину, острием меж камней дорожный её задвинул.

-… ареифилос… мозгов не хватило даже хотя бы попробовать договориться, а вот у нимфы твоей, похоже, мозги есть, что для нимфы странно…

Что-то изменилось.

Сальма перешла с фряжьего.

Она о чём-то умоляла.

Лицо божка поганого вдруг сделалось неотличимым от панских лиц, виденных мной.

- Как я ненавижу своего брата, так же вас, детей его, детей войны, ненавижу… - сказал он и сделал выпад своим посохом.

Неумелый довольно выпад.

Поймал рукой я его посох, добрую ладонь не достал он наконечником своим с шишкой до груди моей.

Улыбнулся Дионис.

Пришла боль.

Не шишкой оканчивался его посох, лезвием, что вошло мне в грудь.

Колдовство бесовское, поганое, мной нераспознанное.

Хотел сказать Сальме, чтоб отошла не мешалась, да из горла рык звериный вырвался.

Лапой посох сломал, остриё из груди достал, в сторону отбросил, на противника двинувшись.

- Famiglia è sacra! Семья священна! Не трогай его! – кричит Сальма, встала на пути.

Остановился.

Вздохнул.

Пропал божок поганый, делся куда-то.

Кровь из груди льётся, Сальму пачкает.

Сила моя вместе с кровью вытекает.

Молитвы и шепотки на моих устах смешиваются, Сальма тащит меня к ручью, готовит, так помощь, туда надо.

Иду, себя корю.

Этому меня дед Свирид учил?

Это ли характерник войска славного?

Глазам поверил, уловку бесовскую не распознал.

Ругает меня Сальма, одно и тоже повторяя круг за кругом.

- Я ж тебе сказала – молчать. Так молчи. Посмеялся б он над нами да отпустил. Может пьяными сделал, но отпустил бы.

- Ишь чего удумал, на Диониса идти… да ты представляешь, что случилось, тронь ты его хоть пальцем? Против тебя бы весь Пантеон поднялся, вся Семья…

- Ну что ты не мог помолчать немного? Не мог?

- Семья священна… понимаешь, это они там могут друг друга резать, убивать, но не мы… нельзя нам…

Совсем на дивчин станичных похожей сделалась.

Те тоже, видел я не раз, похожую бабскую дурь говорили, то от записи в войско хлопцев отговаривая, то от походов дальних…

Только нельзя поддаваться словам тем, слезам: ослабнут иначе вольные люди, погаснет в груди искра Хлопцем Вольным даренная, Смерти-Смертушки бояться начнём, трусами станем, под руку сильную проситься пойдём, жены наши не детей нам рождать станут, рабов.

Дошли до ручья.

Опустился в воду.

Глаза закрыл.

Затворил рану.

Сальма всё подружку свою, целительницу, позвать хотела.

Отмахнулся: мне отлежаться немного надобно, а там продолжим мы путь.

Не было такого, чтоб вольный после панского тычка да не поднялся.

Не было, и не будет.

Пуще раны донимала Сальма: не как не хотела понять, почему я так поступил, а не иначе.

Пришлось цыкнуть.

Ушла.

Обиделась, значит.

Пусть обижается.

Голова у неё девичья, вот и не может понять вещи простые.

Не собирался тот божок поганый нас без боя отпускать.

Плевал он с колокольни на сатиров своих этих, повод ему нужен был брату своему, Аресу, через нас насолить.

Тем бы всё и так, и так кончилось, а то и хуже: мог он с Сальмой чего сделать, чтоб меня спровоцировать.

Или надумываю я то?..

И зря Сальму отогнал?

…

Да что ж ты сделаешь?

Мне о божке этом поганом думать надобно, о том, какую каверзу он ещё удумать может, а я всё – Сальма, да Сальма.

Ясно же – узнает Дионис когда, что жив я, так точно опять явится или кого пошлёт.

Они ж тут все злопамятные, мстительные, - вон о них сколько всего мне Сальма рассказала…

Сальма…

Да едрить его!

Опять она.

Что ж ты с ней делать-то будешь?

Запахло едой.

Еда – это хорошо, с ней силы быстрее вернуться, а то крови с меня натекло.

Подниматься начал, через бок переваливаясь.

Сальма тут как тут.

- Давай помогу, - говорит, - и лучше полежи ещё, а еду я принесу.

Что ж ты с ней делать-то будешь?

Глянул я на неё. Сурово.

Пошёл к костру, к еде. Сам.

Утром Сальма отказалась продолжать путь, сказала, что нужно подождать хотя бы день-другой, пока не восстановлюсь.

Поглядел на неё.

Что ты с ней делать будешь?

Не сечь же?

Поздно сечь: ума от того у Сальмы не прибавится. Да и силы я потрачу и тогда точно никуда мы не пойдём сегодня.

- Хочешь оставаться, так оставайся. – махнул я рукой и пошёл.

Сам.

Она, конечно, тут же ругаться начала.

С горяча даже сказала, что вот она и останется, но тут же передумала и сообщила, что пойдёт, но только лишь затем, что посмотреть, как я свалюсь в какую канаву.

Так мы и пошли.

Где-то до полудня Сальма только и делала, что ругала меня.

- Значит, пока никуда не лезем, не злим понапрасну божков твоих поганых. – почуяв, что она уже подустала, предложил я. – Тем более грошей у нас что у дурня махорки, так что с голодухи пухнуть не должны.

Печально так голову склонила, улыбнулась Сальма:

-… не отстанет от нас Дионис… ты ж ещё его тирс сломал…

- И убивать, говоришь, его никак нельзя?

- Убить его нельзя, тело, что мы видели, это ж не Дионис. Он – вино. Не напиток. Кровь земли. То, что бродит в тёмной бочке, как ребёнок в чреве. Он – опьянение. Не «пьянство». Метюсос – то, что приходит после первой чаши. Когда тело хочет двигаться, а разум молчать. Он – лоза. Он – богатство. Он –

исступление. Он – хоровод. Он – безумие. Он – бык. Рогатый. Ревущий. Тот, кого разрывают на части – и кто возрождается. Загрей. Сын Зевса. Съеденный титанами. Возрождённый Афиной. Это – он. Смерть и жизнь в одном теле.

Сальма говорила, а огонь в моей груди от слов тех разгорался, как печь, в который подбрасывали сухие березовые поленья. Одно за другим, одно за другим. Вон уже огонь из трубы вырывается, того гляди полыхнёт крыша.

Разгорался огонь, как тогда, когда атаман наш, Остап Захарыч, земля ему пухом, зачитывал письмо паши, что велел нам под руку его идти.

Знатно посмеялись мы тогда.

Ещё громче смеялись ответ, когда писали.

Смеялись, когда в бой шли.

Когда умирали, смеялись.

В плену, на галерах…

- Очнись ты, очнись… - уцепилась Сальма за рукав, трясёт.

Лопнула одежонка моя.

Лоскутами висит.

Что ж это со мной делается?

Взять в руки себя надобно, а то придёт в станицу не человек вольный, а зверь страшный. Не объятиями, рогатиной встречать меня станут.

- Даже и не думай руку на Диониса поднимать. Даже не думай. Famiglia è sacra. Понимаешь ты? Если сейчас ещё можно попробовать что-то сделать, то потом – нет.

Кивнул.

Всё я понимал.

Не парубок чай давно.

Старшина.

Не всякую силу силой ломать надобно.

Да и не даром говорят ведь: «Не тот вольный, кто силой взял, а тот кому с поклоном и благодарность отдали».

- И чего делать предлагаешь? – спросил я Сальму.

- Я? – удивление её оказалось столь искренним, что принесло мне огорчение.

- Земли твои, и ты поболе моего понимаешь, что сделать можно.

Задумалась Сальма.

Предложила за советом к пифиям сходить, что вроде гадалок наших, но дымом лавровым дышат, да сама же от идеи этой отказалась, потому как если не на Диониса, так на кого из Семьи точно наткнёмся.

Гадалки и гадания – грех, конечно, но наш то грех, понятный, на него даже отец Иннокентий сквозь пальцы смотрел.

«Гадать-гадайте, на урожай, на суженного-ряженого, да молиться не забывайте, и в церковь ходите в день воскресный». – говорил он.

Прорицателей с десяток Сальма перебрала. Тоже не подошли они.

Решали она к Мойрам идти.

- Это которые? – не сразу и понял о ком она это.

Больно мудрено у божков этих поганых всё, хоть Сальма и рассказывал часто о них, а всё равно в голове не всё укладывалось, не всё запоминалось.

- Мойры – это закон. Они прядут нить жизни. Каждому. От рождения до смерти. Длина нити – судьба. Обрыв нити – смерть. И никто не может её удлинить. Или связать. Или перепрясть.

- Дурь. Судьбы никто не знает, даже Истинный, - поэтому и дал Он нам, людям, свободную волю и саблю, чтобы мы сами вершили свою судьбу.

Покачала головой Сальма:

- Это у вас там, у нас – иначе.

Согласился я, кивнул.

Иная тут земля – то давно я понял.

- Пошли к Мойрам этим. Может что толкового и скажут, а нет, так хоть будем знать, что всё, что могли, мы сделали. – подумав, согласился я.

Шли мы дорогами туманными, пустынными, пока не оказались в пещере, тёмной, влажной. Три женщины. Три старухи. Седые. Сгорбленные. Сидели там.

Нитки, веретено и ножницы, забытые, у ног лежат.

- Нити всех судеб давно сплетены, отмеряны и отрезаны. – шёпотом говорит Сальма.

Пожимаю плечами.

Пусть им.

Отрезано и отрезано, главное, чтоб сказали, что с Дионисом этим поделать можно.

Вежливо, витиевато, Сальма просит взглянуть на нить моей судьбы.

Оживают старухи.

Из воздуха извлекают, не нить одну, а несколько, узлом связанных, Сальме протягивают.

- Его нить, не мою. – протягивает их обратно Сальма.

Одна из старух берёт нити в руки.

Крутит.

Смотрит долго.

Смотрит на меня.

На Сальму.

На нити.

- Его нить. – показывает один конец нить, щупает узел в самом начале нити, которым шерстяная нить к льняной привязана. – Его нить. – ведёт рукой по льняной нити, посечённой, потрепанной до узла большого. – Его.

- Твоя нить. – показывает второй конец, что к узлу большому идёт, голубую, светящуюся изнутри. – Твоя.

Щупает узел, долго, потом нити, что из него выходят.

- Его нить. – показывает на льняную нить с тонкой струйкой голубой.

- Его жены. – показывает вторую льняную нить из узла растущую.

- Его дочери. – показывает третью льняную нить.

- Его нить. – возвращает всё Сальме.

Хотел спросить спутницу свою: куда её нить делась и что значит это?

Промолчал: серьёзной слишком Сальма сделалась.

О жене да дочке подумал, Мойрами мне нагаданных.

Всё, как и у нас на гаданиях, – всегда счастья гадают и семью.

Никто не гадает разгром, чужбину да плен. Потому, видно, до сих пор гадания эти у нас живут. Всем в счастье верить хочется.

- Странно… с Дионисом проблем нет… - задумчиво протянула Сальма, отдав нити Мойрам.

Бог миловал, значит?

То славно.

Славно.

Но всё равно потише следует быть, хотя бы до тех пор, пока божки эти поганые из мира не уйдут.

На пути обратном, повстречался нам Арес.

Не тот, каким явился он в капище том поганом, когда за Сальмой я ходил, усталый, без шлема. На камне сидит.

Поглядел я на него.

Без шлема своего и глаз огнём пылающих сделался он ещё больше на Архистратига похож. Прости меня, Господи, за мысль эту крамольную.

Поглядел и он на меня.

- У меня много детей. Не по крови. По духу. Это ценнее. Они рождаются. Они живут. Они умирают. В бою. Ведь они – дети войны. Мои дети. Незнающие имени отца своего, не помнящие лица его, ненавидящие и проклинающие своего отца. Все они – мои дети. И я их люблю. По-своему. В детях своих я вижу продолжение себя. В них я буду жить. В их детях. В детях их детей. Я буду жить. Не кровавым безумием бойни. Благородным озарением, что позволит одному сразить сотню. Взглядом, что страх в сердцах поселит. Я буду жить в них… даже когда стану тем, кем меня хотят сделать… псом, беспамятным, дом хозяйский охраняющим… мои братья, мои сёстры, мои родители… как могу я им отказать?..

Арес говорил тихо, почти шептал.

И щит его, и копьё его грозное лежали рядом.

- Мой самовлюблённый братец больше не побеспокоит тебя. Никто из Семьи тебя больше не побеспокоит. Они поклялись мне в том.

С благодарностью я поклонился в ответ.

- Прощаясь, я бы хотел вручить тебе дар. На память. Проси о чём хочешь.

Я улыбнулся.

Вспомнил ветер да ковыль, простор вспомнил степной.

Ждали они меня.

Вспомнил станицу.

И она ждала.

Вспомнил родителей.

Они тоже ждали меня, даже зная, что всякий срок вышел и надежды нет.

Они все ждали меня, не забывали.

- Если кто из войска моего жив ещё – помоги им дороженьку домой отыскать. – сказал я единственное, что верным было.

- Кто жив – домой вернётся. Обещаю.

Поклонился я во второй раз.

Ниже, чем в первый.

В землю.

И пусть отец Иннокентий потом хоть что делает – если и правда вернутся в станицы побратимы, не отрекусь я от поклона этого, от благодарности этой.

- O teknon emon, надеюсь и ты отыщешь путь в родные края.

Поклонился я и в третий раз.

Поднялся Арес.

Шлем свой надел.

Взял щит.

Взял и копьё.

Ушёл.

В тумане скрылся.

После посещения Мойр, встречи с Аресом прибывала Сальма в печали, хоть и вида старалась не подавать, да всё ж понятно было: ужин подгорел чуть и в песнях подпевала она как-то не впопад.

Бывает такое с дивчинами, когда нагадают им не того, чего б им хотелось.

Потом ходят, кручинятся.

С узлами-нитями намудрили старушки: ничего ведь толком не сказали, а вон какая печаль у Сальмы.

Если б не Арес, так зазря к Мойрам этим сходили б – не было от них пользы никакой.

Сунули нитки и сам разбирайся.

У нас куда красивше всё.

Воск свечной в воду льют, потом понять пытаются, что то значит.

Обувку через забор кидают, суженого ищут.

В варениках монеты прячут, зубы потом ломают, а смеются – монета попалась, значит, достаток будет.

Гадалки на картах гадают, про каждую карту историю тебе расскажут.

Правды там с песий чих, да всё равно ж весело послушать, что ждёт тебя там встреча какая или прибыток, или поостеречься чего стоит. Весело это, потому если не каждая первая, так каждая вторая кумушка тебе что хочешь нагадает.

О том я Сальме рассказывал.

- Выберемся мы из земель этих, и у нас в станице тебе матушка моя, что хочешь то и нагадает. – пообещал я.

- Вот что захочу?

- Что захочешь. – кивнул я. – Только всё равно самой придёт делать так, чтоб нагаданное в реальность воплотилось. Известно же, что под лежачий камень вода не течёт.

- Если вода захочет, то и под лежачий камень затечёт. Ты просто воду не знаешь, а я – нимфа, я про воду всё знаю.

Сказала и улыбнулась, а у меня чувство осталось, будто не всё я понял из сказанного.

Дурь – гадания эти, тем более местные, с ниточками их непонятными.

Вот куда делась голубая, так что Сальмы? Забыли о ней?

И чего дочь у меня всего одна? Где это видано, чтоб в семье один ребетёнок был?

Дурь всё это… дурь…

Спал я как всегда чутко, поэтому и смог различить то, что ухом обычным было не услышать.

Голос.

Едва различимый.

Поднялся.

- Что-то случилось? – тут же проснулась Сальма.

- Поёт кто-то.

- Кто?

- Не знаю.

Пошёл на голос, останавливаясь, прислушиваясь.

Сальма последовала за мной.

Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав.

Додому я просилася, а ти мене все не пускав.

Додому я просилася, а ти мене все не пускав.

Ти, милий мий, а я твоя, пусти мене, зийшла зоря.

Проснеться матинка моя, буде питать де була я.

Проснеться матинка моя, буде питать де була я.

А ти ей дай такий ответ, яка чудова майська нич.

Весна иде, красу несе, а тий краси радие все.

Весна иде, красу несе, а тий краси радие все.

Различив слов, боясь признаться себе в счастье, жеребцом ломанулся я вперёд, ломая кустарники и молодые деревца, что на пути мне попадались.

Вырвался я на пространство, увидел ту, что песню пела.

Боса.

Почему-то это первое на что я обратил внимание.

Боса, как и я.

Лицом пригожа. Едва успела порог детства переступить.

Одета в длинное льняное платье с легким персиково-розовым оттенком. Наше платье. Вольных.

По подолу и рукавам идет изящная, но скромная вышивка. Наша вышивка. Вольных.

Замолчала.

Смотрит на меня.

Не верит глазам своим.

И я не верю.

Руку протянул.

Коснуться боюсь.

Вдруг опять мара какая-то?

Бесовское наваждение?

Решила нечисть местная надо мной подшутить?

- Вольный! – как закричит и в объятия мне прыгнет. – Родненький!

- Мавка! – закричал я в ответ и от чувств подбросил в воздух.

Смеётся пуще прежнего.

- Вольный! – кричит.

- Мавка! – смеюсь я в ответ в вверх её подбрасываю.

Смеётся и плачет она.

А слёзы её горячие падают мне на лицо и текут вниз.

Отсмеялись-отплакали.

Опустил я мавку.

Оглядывает она меня с ног до головы, будто впервые увидела, да звонким голосом своим спрашивает:

- А где ж твой конь, вольный?

- Потерял я коня своего в сече, родная.

- А где ж твоя сабля, вольный?

- У костра она лежать осталась, родная, у костра.

- А где ж твоих шаровары, вольный?

- Нету их, истёрлись, истрепались, за годы плена, родная.

- А где ж твоя станица, вольный?

- В том краю, в котором солнце встаёт, туда я путь держу, родная.

- А возьмёшь меня с собой, вольный?

- Возьму, родная, возьму.

Обнялись мы.

- Ты пахнешь степью.

- Я пахну тиной, вольный.

- Степью. – покачал я головой.

- Задушишь, вольный…

Трудно расцепить объятья.

Невозможно.

Оттолкнулась от груди моей, выбралась из объятий, что расцепить я не сумел.

Улыбается да куда-то мне за спину глядит:

- А кто это с тобой, вольный?

Со мной?

Обернулся.

Гляжу – Сальма. Ножны с саблей в руках держит.

Совсем о ней забыл.

- Это Сальма, она моя… - хотел представить я её, да споткнулся, шаг сделав.

Моя кто?

Кто она мне?

Я ей кто?

- А я – Любава. – тихим весенним ветерком прозвучало имя моей землячки.

- Любава… - язык не верил, что вновь касается родного имени.

- А тебя, вольный, звать как?

Меня?

Замялся я от чувств меня переполняющих, не сразу и имя своё вспомнил, да Сальма на выручку пришла.

Представила меня так представила, будто на приёме у самого царя-батюшки.

Стушевалась Любава такое да услышав.

Успокоил я её, именем родных, не языком фряжьим искажённым, представился, по батюшку своего назвал, войско да станицу родную.

А там повёл к месту стоянки нашей ночной.

Сна в ту ночь уж не было.

Проговорили мы с Любавой до рассвета, а как настал он, так в путь двинулись.

Яснее небо над головой стало, расступились холмы, горизонт открывая, да и задышалось мне как-то, когда слушать я стал голос Любавы.

Рассказала землячка моя о том, как в земле фряжьей оказалась: из любопытства праздного, девицам свойственного, решила она на земли дальние поглядеть, из речки в речку переходила, пока совсем путь-дорожку домой не потеряла.

Нимфы местные, нравы их, до сердца Любавы не легли, вот она и ушла ото всех подальше, песни пела да грустила, что не увидеть ей степи родной.

Признаться… не выдержал я историю её слушая, слезу скупую, мужскую, смахнул, да обнял Любаву ещё раз.

- Вернёмся мы в степь нашу, родная, вернёмся. – пообещал я.

Опять Любаве самой пришлось из объятий выпутываться.

Не нашлось и в это раз сил у меня из расцепить.

Ушицу нашу, вольную, вечером Любава приготовила, головёшку в конце, как положено, в неё сунула, для горечи да и по традиции старой.

Ем, нарадоваться не могу.

После ужина, правда, пришлось Сальму выслушивать.

Оказалось, что она тоже могла уху сделать и не хуже, а то и лучше, чем Любава, просто не знала, что такое уха, а так бы – точно сделала.

Потом полночи Любаву о наших, станичных, рецептах выспрашивала, - уснуть мне не давали.

- Раскудахтались, ровно квочки. Спать. – поняв, что без меня то до утра протянутся цыкнул я.

Умолкли они, да уснуть я всё равно не смог: тому радовался, что Любаву повстречал, молитвы читал, да Истинного за ту встречу благодарил.

Утром, спустился я к речке, чтоб омыться, сонливость утреннюю прогнать, да по пути Сальма меня нагнала.

Обняла, к спине прижалась.

Меня огнём будто обдало.

- Барбар, много ты песен спел, много сказов сказал. Есть ли среди них хоть один о том, как вольный выбрал не землячку свою, а чужую, грешную, бесовку поганую?

Слеза горячее огня спины моей коснулась.

Повернулся я, утёр ладонью щёки Сальмы, и в глазах её отыскал ответ на вопрос, через который спотыкался много раз.

Обнял крепко.

- Да где ж ты бесовку-то нашла?

- Так я ж и есть бесовка…

- От дурная дивчина мне попалась… да разве ж бесовка будет с вольным край его родной искать, да песни петь?.. наша, ты, вольная, просто не поняла ты это

ещё, да и я, дурной, это только сейчас понять сумел…

- А как же Любава? – жгли новые слёзы мою грудь.

- Дочерью названной будет. Ты с тем согласна, жена моя?

- А разве так можно?

- За то я сам ответ перед отцом Иннокентием, да перед Истинным держать буду.

- Тогда… тогда назови меня так ещё раз…

- Жена моя.

- Ещё раз…

- Жена моя…

…